



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Стихи. Перевод Яна Гольцмана 3
- РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Четыре дня в стране Айка. Документальная повесть. Перевод Вадима Коленченко 7
- САЯТ-НОВА. Стихи. Перевод Владимира Леоновича 50
- СИЛОВАН НАРИМАНИДЗЕ. Стихи. Перевод Владимира Леоновича 54
- ДАВИД ДЖАВАХИШВИЛИ. Черный Гоги и Белый Георгий. Рассказ. Перевод Игоря Штокмана 58
- УШАНГИ РИЖИНАШВИЛИ. Рассказы 75

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- КОБА ИМЕДАШВИЛИ. «Ничего больше не прошу я у Грузии...» 115
- ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Письма. Портреты 124

2



СОСО СИГУА. Трансплантация любви 147
 БОНДО АРВЕЛАДЗЕ. Наука требует объек-
 тивности 163

К 70-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
 ВАХТАНГ ЕСВАНДЖИЯ. Хижина свободы . 180

Наш долг — верить и любить. Беседа писате-
 ля ГУРАМА БАТИАШВИЛИ с католико-
 сом-патриархом Всея Грузии ИЛЬЕЙ II . 186

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ.
 ГАЛИНА НЕЙГАУЗ. О Борисе Пастернаке . 194
 АЛЕКСАНДР ЧХЕИДЗЕ. Еще раз о Пирос-
 мани 213

РЕПЛИКА 193

ХРОНИКА 179, 212

Другу-поэту

Ревнителей поэзии родимой,
Чьи борозды бурьяном не забиты,
Но проросли строкой необходимой, —
Зачем бранишь? Нелепые обиды!

Не забывай, что каждый в этом мире
Наследует открытия предтечи.
Тобой произнесенное шаири
Едва ли будет частью прежней речи.

Зачем ревнив к тому, что миновало,
Когда тебе гармония покорна?
Ширь, где отцами найдено не мало,
Для первооткрывателя просторна.

И те, кто славой ветреной любимы,
Да избегут бахвальства и гордыни:
Поэзии бездонные глубины,
Они неисчерпаемы доньше!

Баллада молитв и проклятий

Проклятья всегда
Над людьми тяготеют: однажды
Любого из нас проклянут,
Предрекая невзгоды.
Но ровня проклятью, —

Что знает, однако, не каждый, —
Порой пожеланье
Здоровья на долгие годы.
Не зря уверяют,
Что тосты заздравные эти,
Как ненависть чья-то,
Грозят неотступной бедою:
Не дай вам господь
Увидать приближение смерти
К созданьям, которые
Были самой красотой!

Прошли времена.
И, на сверстницу юности глядя,
Молчишь, потрясенный, —
Как все изменилось на свете!
И вдруг понимаешь:
Господь превращает в проклятья
Молитвы и тосты,
Сулившие нам долголетье.

Безжалостный Хронос!
Что было во времени оном
Лучом совершенства,
Живым воплощением света,
Высокой мечтою,
Земной красоты эталоном —
Во прах обратилось!
Картина внезапная эта

Неправдоподобна:
В мучительном сне не приснится
Подобный финал.
Неужели встречаюсь с тобою?
Хрустальные башни
Дробит костяная десница,
Рассветные розы
Раздавлены грозной стопою.

Немыслимым ветром
Над нашей планетою дуло.
Кто выбелил волосы?
Век беспощадно-великий,
Который ровесниц



Принудил клониться сутуло,
Изрезал морщинами
Некогда светлые лики.
Красавицы, где вы?
Что с вами, прекрасные, случилось?
Упрямая память
Не примет подобной потери.
Зачем я увидел,
Как вас обездолила старость?
Да лучше бы прежде
Захлопнуть могильные двери,

Зато уберечь,
Пронести через все непогоды
Восторг и блаженство,
Служившие светочем стойким.
Молитвы,
Тебе даровавшие долгие годы, —
И впрямь под конец
Обернулись проклятьем жестоким!

Обращение к старости

Проклинаю того, кем придумана ты!
Породить беспощадную кто надоумил?
Пусть назавтра избавлюсь от всей маеты
И закрою глаза, но, покуда не умер,

Я хочу, чтоб десница стремительных дней
Так гвоздила тебя, так безудержно била,
Чтоб, утратив свирепость и память о ней,
Ты угрюмое имя свое позабыла.

Чтобы свет для тебя потускнел и потух,
Чтобы тело оставила прежняя сила,
Чтобы ты, как старуха, утратила слух,
Чтобы немощь колени твои подкосила,

Чтобы люди забыли о множестве бед,
Чтобы падала ты под своею виною,
Чтобы треснул от тяжести этой хребет,
Чтобы косы твои замело сединою,

Чтобы, жалкая, ты волочилась во мгле,
Чтобы ты позабыла о жизни хорошей,
Чтобы, как прокаженная, шла по земле,
И бубенчик болтался на шее иссохшей!

Пусть вовеки тебя не жалеют за то,
Что тебя самое растоптала усталость.
...Рядом с этой гостьей все беды — ничто:
Наихудшая божия выдумка — старость!

Перевод Яна ГОЛЫЦМАНА



Наши поздравления

ГРУЗИНСКОМУ писателю Владимиру Тарасовичу АЛПЕНИДЗЕ — 50 лет. В поздравлениях секретариата правления Союза писателей СССР, секретариата правления Союза писателей Грузии и Совета по грузинской литературе СП СССР говорится о заслугах писателя перед грузинской и советской многонациональной литературой, о его многогранном творчестве и активной общественной деятельности. Редакционная коллегия и коллектив журнала «Литературная Грузия» присоединяются к этим поздравлениям и желают юбиляру крепкого здоровья, счастья, новых творческих свершений на благо отечественной культуры.





ЧЕТЫРЕ ДНЯ В СТРАНЕ АЙОСА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

РАННЕЙ весной, в двадцатых числах марта, мне предстояла поездка в Ереван. В иное время я бы охотно принял приглашение, но сейчас до смерти не хотелось уезжать: дел было невпроворот. Однако выбирать не приходилось, и хотелось мне того или нет, я должен был, отложив все дела на завтра, в назначенный срок приехать в Ереван.

Тбилиси еще стыл от последних мартовских холодов. На голых горных склонах, кольчующих город, и в овражных провалах грязно лоснился снег. В Ереване, учитывая его местоположение, климатические условия и принимая на веру сводки метеобюро, погода ожидалась холоднее, поэтому вовсе не лишней выглядела предусмотрительность человека не первой молодости, одевшегося тепло и готового во всеоружии встретить вероятную стужу, частую в Армении не только зимой, но и по весне.

Мысленно я был уже в Армении, вышагивал по ереванским улицам. А пока, чтобы не опоздать, наскоро увязал багаж, набросил шубу и прибыл на навтлугский вокзал за час или полтора до отхода поезда. Я попытался представить себе Ереван двадцати-двадцатипятилетней давности, Ереван времен моего прежнего визита. По слухам да и по официальным сообщениям, армянская столица в последние годы заново отстроилась, от бывшего города не осталось и следа.

Да, но что же я видел? И что могло так бесследно исчезнуть? Рассыпавшиеся по склонам убогие нагро-

мождения плоскокровельных лачужек с вечно распахнутыми настежь дверьми и сохнувшим на ветру пестрым бельем; мревшие в затхлом от постоянного безводья воздухе извилистые проулки — их и улицами-то назвать нельзя было; несколько центральных прелестных зданий из розового туфа, чья царственная торжественность щемяще взывала к давнему прошлому города, не раз разоренного и сметенного с земли коварным врагом.

Стыдно признаться, но жизнь сложилась так, что я, увы, не нашел времени хотя бы еще раз побывать в столице Армении.

Я посмотрел на часы и подосадовал на себя за ранний приход. Навтлугский вокзал — связующая точка с соседними братскими республиками, корбил своей вызывающей неухоженностью, которую не скрадывали ни фасадный декор из туфа и эklarского камня, ни удобная планировка его интерьера. Сквозь крышу просочилась вода, и на некогда белом потолке, ныне уже пожелтевшем от табачного дыма, образовалось огромное, кофейного цвета пятно — знак наплевательского отношения к своим обязанностям хозяев этого здания. Под пятном, на мозаичном полу, — грязная дождевая лужа. К скамейкам можно было пробраться, только лишь засучив штанины и встав на каблуки. Не то что сидеть, но и стоять здесь было небезопасно. Набрякшая влагой штукатурка ежеминутно могла рухнуть вниз!

В зале ожидания, расположенном на втором этаже продолговатого вокзального прямоугольника, куда ведет широкая каменная лестница, пассажиров — пруд пруди. Угрюмые, истомленные ожиданием люди едва проглядываются в густом папиросном дыму. Невольно вспоминается станционная толчея времен гражданской войны. Кто восседает на стянутых бечевой чемоданах, картонных коробках, кто уместился на длинных скамьях с резными спинками и, сунув локоть под голову, мирно посапывает — этих, видно, не волнует тошнотворная грязь вокруг. Время от времени в неумолчный гомон толпы вклинивается хриплый звук репродуктора. К перрону подходит пригородный поезд и пассажиры мгновенно оживляются. Начинается обычная при посадке беготня, из конца в конец вокзала несутся оклики.

Я безнадежно огляделся в поисках свободного ме-

ста. Где там! Впрочем, даже если бы оно и нашлось на одной из годами не чищенных, безбожно почерневших от грязи, смрадно пахнувших скамеек, я вряд ли решился бы сесть, хотя в чистоплюях никогда не ходил.

Что это? Равнодушие? Безответственность? Или первое и второе, помноженные друг на друга?

Железнодорожный вокзал, присутственное место, наш общий дом. В нем, как в зеркальном сколке, видны лицо народа, лицо страны. Неужели кому-нибудь еще не ясно, что та халатность, то головотяпство, с которыми я столкнулся на навтлугском вокзале, прежде всего — оскорбление чести отчего дома? Поведение повинных в этом людей вызывает глубокое негодование — чувство, куда большее, чем простая неприязнь к обленившимся, расхлябанным бездельникам прочих неброских мастей...

Очнувшись от грустных мыслей, я вспомнил о предстоящей поездке в Армению, куда ехал с особо почетной миссией.

Армения готовилась отметить торжественное памятное событие — юбилей выдающегося армянского писателя и общественного деятеля Раффи.

Имя Раффи — гордость и святая святых армянского народа. Он внес величайший вклад в становление национального самосознания соотечественников. Перу писателя и неутомимого поборника справедливых национальных интересов принадлежит немало романов, рассказов, очерков, научных исследований. Еще в девятнадцатом веке армяне с гордостью произносили его имя, и ореол его в наше время отнюдь не померк, а, напротив, ярче заблестал всеми своими гранями.

Как и многие другие знаменитые подвижники армянской культуры, он почти всю свою жизнь провел в Грузии, долгое время жил в Тбилиси и здесь же, на тбилисском кладбище Ходже-Ванк обрел вечный покой. Писатель и гражданин, Раффи — старший духовный собрат Ованеса Туманяна, такого же истинного и преданного друга Грузии, — никогда не страдал всеразрушающими недугами национального самовозвеличивания и квасным патриотизмом. Грузию, к слову сказать, он считал второй родиной не только для себя, но и для сотен тысяч своих сородичей, давней лихой порой нашедших здесь надежное убежище. Современники Раф-

фи, будь-то армяне или грузины, высоко ценили дар писателя и платили ему неизменной любовью. Он был близок, понятен простонародной среде, не обходила молчанием его творчество и тогдашняя грузинская пресса.

Раффи ушел из жизни в расцвете сил, пятидесяти трех лет от роду. Вот что писала в те скорбные дни 1888 года выразительница патриотических умонастроений народа грузинская газета «Иверия». Листаем семьдесят восьмой номер: «Сегодня, в пятницу, в Тбилиси хоронят известного армянского писателя Раффи, скончавшегося в пасхальную ночь от воспаления легких. Раффи жил в Тбилиси и создавал замечательные произведения о жизни народа. Армянская литература потеряла одного из лучших и талантливейших своих представителей. Мы все сегодня скорбим по усопшему писателю, который правдивым, мощным словом, высокой мыслью и светлыми чувствами не раз волновал сердца соотечественников. Такие люди не забываются народом, ибо они хранили и несли в своей благородной душе все его беды и чаяния».

Газета «Иверия», во главе которой стоял духовный отец грузинского народа Илья Чавчавадзе, неоднократно упоминала имя Раффи на своих страницах. В тридцать первом номере газеты за 1892 год читаем: «Главное достоинство Раффи — в простоте писательского почерка. Он пишет бесхитростно и тепло, не расцвечивает слог описанием красот природы, не оглушает читателя громоуханьем тяжеловесных фраз. Его простое, правдивое слово накрепко впечатывается в душу: в простоте часто таится сила!

Кровная тема творчества Раффи — жизнь обездоленных, униженных, оскорбленных людей. Он переживает за человека, для которого сама жизнь стала тяжкой мукой».

Юбилейную годовщину вот такого писателя, общественного деятеля и отмечала Армения, а мне выпала честь представлять Грузию на этом большом всенародном празднике.

Поезд отправлялся ночью и на рассвете прибывал в Ереван, где хозяева должны были встретить меня и препроводить в гостиницу. Телеграмму я послал заранее и, если она вовремя попала к адресату, неожидан-

ность моего приезда со всеми вытекающими отсюда последствиями исключалась.

Поезд подали с опозданием на тридцать-сорок минут. В купе я оказался один, и хотя время уже располагало ко сну, от невозможности с кем-либо перекинуться словечком, стало не по себе. Проводница вагона — широкоплечая смуглая армянка, заявила, что ради моего полного спокойствия, никого в купе больше не пустит, и отправилась к выходу встречать новых пассажиров. Перед самым отходом поезда она появилась еще раз и с характерным для тбилисских армян говорком обратилась ко мне по-грузински:

— Позвольте побеспокоить, батано!

— Да-да, пожалуйста, входите, — ответил я.

— Тут один человек очень просится... В Ленинакан едет... Если вы не против, дорогой, сюда положу. — Она протянула руку к верхней полке, заваленной тюфяками и подушками. — Видать, спокойный парень, вас не стеснит. Посадить?

— Как угодно! Здесь только одно место занято, другое свободно. Чего же ему пустовать?

— Хороший человек! — сказала проводница и уже на армянском стала что-то наставительно говорить стоявшему у дверей улыбавшемуся молодому парню. Когда он вошел в купе, поставил чемодан и поздоровался по-русски, проводница, вновь обернувшись ко мне, изрекла: «Матрацы на полках, белье сейчас принесу, а вы рублевки приготовьте».

— Значит, в Ленинакан едете? — спросил я парня и подвинулся к окну, уступая ему место. Он утвердительно кивнул головой, в нерешительной застенчивости присел на край сидения и прислонился к двери. — Сами оттуда?

— Нет. От Ленинакана до нашего села двадцать два километра... Автобус ходит.

Парень оказался ассирийцем. Три года назад окончил десятилетку, отслужил в армии—ей-то, видно, и был обязан своим хорошим русским произношением, — а теперь готовился поступать на факультет восточных языков Ереванского университета.

— А что определило ваш выбор? — спросил я.

— Я ведь потомок одного из древнейших восточных народов, — охотно ответил парень. — Место Асси-

рии в истории цивилизованного мира весьма заметно. Не удивительно, если меня так интересует культура далеких предков.

— Простите, а эти познания вы вынесли из школы? — любопытствовал я.

— Да нет, в школе не до таких дисциплин. Просто мне повезло с учителем. Он у нас математику вел, тоже ассириец, дальним родственником мне приходился. Так вот, математику его я усвоил тоже неплохо, но историю Ассирии все же гораздо лучше. Он отлично ее знал, давал нам читать различные книги, правда, на русском языке, а в нем мы тогда были еще слабоваты.

— А школу вы какую кончали?

— До четвертого класса на ассирийском учился, а потом на армянский перешли. Армянский плюс русский, плюс еще иностранный — пятикласснику и не осилить больше.

— Ну, вы настоящий полиглот, если на армянском, да еще на иностранном, говорите так же хорошо, как по-русски.

— Что вы! — смутился парень. — До полиглота мне далеко. Настоящий полиглот, знаете, кто?

— Кто? — улыбнулся я.

— Академик Тамаз Гамкрелидзе.

— Тамаз Гамкрелидзе?! А откуда вы его знаете?

— Знаю. В «Известиях» недавно интервью с ним было. Вы, наверное, читали?

— Конечно.

— Там его спрашивают: сколькими языками владеете?

— Да-да. И что же он отвечает, не помню?

— Говорит, что не задумывался над этим вопросом. Вот кто истинный полиглот!

— Вы думаете, Тамаз Гамкрелидзе знает и ассирийский?

— Безусловно. И не только ассирийский. По его теории, потрясшей лингвистический мир, знание праязыков-предтеч, скажем, нынешних индоевропейских, семитских или картвельских, просто необходимо.

— Да, теперь я понимаю, почему вас привлек именно факультет восточных языков. Целеустремленности, способностей и сметки вам не занимать. А это — верный путь к успеху. Уверен, цель будет достигнута. От души

желаю удачи и надеюсь, что когда-нибудь вы встретитесь с Тамазом Гамкрелидзе на научном поприще.

— Эх, — молодой человек вздохнул и потупил голову. — Пустые мечты! Куда уж мне... Встретиться с Тамазом Гамкрелидзе сегодня сочтут за честь крупнейшие ученые мира. Вы знаете его лично?

— Да, довольно близко, и горжусь тем, что мы соотечественники!

— Конечно! Здесь есть чем гордиться!

— Скажите, а ваше село может гордиться какой-нибудь известной личностью? Такой, которой бы молодежь могла подражать?

— Нашим учителем математики. Пока что у нас в селе единственная яркая личность.

— Коль вы так о нем отзываетесь, наверное, он, действительно, прекрасная личность. Впрочем, не удивительно, любовь и уважение к своему учителю каждый мыслящий, порядочный человек пронесит через всю жизнь. Просмотрите двухтомник Тамаза Гамкрелидзе и Вячеслава Иванова, о котором писали «Известия». Там вы найдете теплые, трогательные строки воспоминаний этих больших ученых о своих первых наставниках в науке.

— Да! А кто они?

— Представьте себе, некоторых из них я знал лично. Академики Георгий Ахвледзиани и Георгий Церетели. И один зарубежный ученый — Михаил Петерсон.

Молодой ассириец не успел выразить свое восхищение, как снаружи постучали, дверь с визгом открылась, и в ярко освещенном проеме появилась фигура нашей проводницы.

— И сами не спите, и другим не даете спать, — сказала она ледяным голосом и скрылась за грохнувшей дверью.

Законный упрек в равной степени касался нас обоих. Я взглянул на часы — был третий час пополуночи. Попутчик мой, видно, ложиться не собирался. Чтобы не беспокоить меня, он вышел в коридор и сел у окна. Я же, не раздеваясь, лег и тотчас уснул. Когда я открыл глаза, в окно вагона струился слабый мутно-голубой заревой свет. Парень со своим багажом исчез. Значит, Ленинкан уже позади, и скоро поезд подойдет к Еревану. Посреди стола я увидел сложенный пополам тетрадный

листок. На нем было что-то написано. Я вооружился очками и стал читать. Мой попутчик писал: «Простите, что ушел не попрощавшись: не решился вас будить. Спасибо вам большое за поддержку и участие. Если когда-нибудь из меня выйдет человек, в этом будет и ваша заслуга. Я знаю, кто вы, куда и зачем направляетесь... Раффи — поистине большой писатель, и мы, ассирийцы, живущие в Армении, читаем его в оригинале».

Вот и все. Ни имени, ни фамилии! Почему? Возможно, из опасения показаться назойливым? Кто знает, встретимся ли мы еще когда-нибудь? Может быть, и встретимся! Наша зеленая, пульсирующая токами жизни планета не так уж велика, чтобы люди могли легко разминуться на ней друг с другом, тем более, если они этого не хотят!

2

Поезд остановился в каком-то глухом тупике. «Путь закрыт, что ли? Вот незадача», — мелькнула мысль, но когда пассажиры дружно потянулись к выходу, мне ничего не оставалось делать, как сгрести в охапку свою шубу, прихватить «дипломат» и направиться вслед за ними.

Предусмотрительность все-таки взяла верх, и я спросил у миловидной, чуточку полноватой женщины, которая вместе с ребенком пробиралась по коридору: — Мы уже в Ереване?

Женщина смерила меня подозрительным взглядом, повела бровями и пренебрежительно выпалила: — А где же еще? Или не узнаете? Вы часом не из Парижа приехали?

Господи, неужели трудно ответить человеку, или впрямь ему надо быть парижанином, чтобы отважиться на подобный вопрос? Вдруг меня осенило: женщина, благодаря моей кавказской внешности, попросту приняла меня за ереванца, а безобидный вопрос, к тому же не на армянском языке, отнесла к не самому удачному способу завязать беспредметную беседу.

У меня отлегло от сердца. Возмущение сменилось неподдельной симпатией к этой женщине: такая сможет постоять за себя. Родись она двумя тысячелетиями раньше — биться бы ей бок о бок со своим отцом, мужем,

братом против македонских фаланг и римских легионов, не раз посягавших в ту далекую пору на свободу ее родины. Биться и побеждать, или же, обагрив кровью вражеские щиты, упасть бездыханной, но не уступить супостату ни пяди отчей земли.

Незримая, но прочная нить соединяла эту женщину с Великой Арменией, некогда могущественным восточным государством. Сопредельные страны Междуречья — Колхо-Иберия, Албания, Понтийское царство — видели в нем доброго, надежного соседа. Совсем иные чувства питали к Великой Армении римляне.

Ее границы, простиравшиеся от юго-западного побережья Каспия до самого Средиземного моря, словно лакомый кусок, разжигали в них и без того волчий аппетит.

История Армении — это не только история Востока, но и неотъемлемая часть истории античной Греции и Древнего Рима. Знание этой истории делает честь каждому интеллигентному и образованному человеку. Судьбы Сирии, Палестины, Каппадокии, Египта, Рима и некоторых других стран Передней Азии когда-то во многом определялись судьбой Армении. Заметные следы ее исторического влияния и сегодня, спустя десятки веков, можно обнаружить в жизни народов, населяющих ныне эти древние земли.

Вспомним хотя бы такой факт — свидетельство высоких заслуг армянских мастеров перед восточной культурой. В 889 году император Византии поручил восстановить купол разрушенного сильным землетрясением константинопольского собора св. Софии не кому-нибудь иному, а знаменитому армянскому зодчему Трдату. Его благословенная десница вдохнула новую жизнь в соборный свод, и вот уже второе тысячелетие изумляет он величественной легкостью своих форм. За свою жизнь Трдат возвел немало храмовых сооружений и дворцовых зданий. Среди них — во многом повторяющий архитектурный облик знаменитого Звартноца кафедральный собор в древней столице Багратидов городе Ани. Увы, от первопрестольного Ани, находящегося ныне на территории Турции, остались разве что руины некогда прекрасного собора.

Знала ли моя попутчица, так трепетно прижимавшая к груди свое чадо, очевидцем каких страданий был

вознесшийся до небес Арарат, прежде чем осушил слезы этой, подобно шагреневой коже, усохшей, уменьшившейся на протяжении веков страны!

Поезд по-прежнему стоял в тупике у высокой насыпи, и как-то не верилось, что это главные железнодорожные владения большого, миллионного города. Только тогда, когда я вместе с другими пассажирами, обремененными кто авоськами с краснобокими яблоками, кто тяжелыми чемоданами да коробами, оказался в конце состава, все прояснилось. Над длинными платформами, соединенными друг с другом и с вокзальным зданием тоннельными переходами, нависали громадные железные конструкции. Крупномасштабные работы по перекрытию платформ были в самом разгаре, и начальство из вполне понятных соображений перенесло подъездные пути в более отдаленное место. Не убоюсь высказать мысль, что если судить по абрисному зачину и предвидеть счастливые конечные результаты этих сложнейших работ, Ереванский железнодорожный вокзал обещает стать одним из замечательнейших сооружений такого рода не только в нашей стране, но и в мире. В моих странствиях по белому свету я видел вокзалы Москвы, Ленинграда, Берлина, Лейпцига, Парижа, Лондона, Рима, Стамбула, Брюсселя, Копенгагена, Милана, Антверпена, Амстердама. Многие из них весьма почтенного возраста, некоторым по сотне и более лет. Ереванский же лучшие армянские специалисты перестраивают в духе новейшего времени, технические достижения и возможности которого, бесспорно, обеспечат вокзалу достойную конкуренцию со старшими «собратьями».

Долгие годы на Ереване лежала печать окраинного губернского города Российской империи. С установлением Советской власти революционные преобразования коснулись всех областей социально-культурной жизни республики, в том числе градостроительства. У истоков армянской советской архитектуры стоит замечательный зодчий и общественный деятель Александр Таманян. Выдающийся талант этого человека воплощен во многих застывших в камне творениях Еревана. Три-четыре десятилетия тому назад его ученики вместо старого, прокопченного паровозным дымом типового здания возвели новый, добротный вокзал. Он целиком занимает одну

сторону площади и привлекает внимание монументальностью форм, столь характерной для армянской национальной архитектуры, лаконичной изысканностью линий, предельно выверенным композиционно-пространственным решением. Высокие арочные своды, сообщаемые друг с другом залы создают праздничное настроение и, словно бы на всех языках, приглашают дорогих гостей в древнюю страну вечного, неиссякаемого жизнелюбия.

Меня никто не встретил. Вот так штука! Шел шестой час утра. Город еще спал.

Я покружил по вокзалу, неспешно прошелся по темному, в строительных лесах, перрону и, наконец, вновь вернулся на площадь, в центре которой стоял хорошо знакомый мне с детства памятник Давиду Сасунскому. При виде его невозможно остаться равнодушным. Какая мощь, какая устремленность, какое мужество в облике! Наверное, вот таким был спарапет Вардан Мамиконян, когда 26 мая 451 года в Аварайрской битве бросил свою малочисленную конницу на несметные полчища персов. Сеча была жестокой. Армяне не отступили под градом стрел и копий восседавших на боевых слонах, вооруженных до зубов персов. Воины спарапета, все как один, героически полегли на поле брани.

Я, не числя себя непревзойденным знатоком вааяния и музыки, хотя это вовсе не обязательно в данном случае, осторожно осмелюсь сказать, что скульптурный образ народного героя вызывает в моем представлении живые ассоциации с огневыми мелодиями «Гаянэ».

Прав ли я, есть ли в самом деле что-либо общее между этими двумя произведениями? Творения искусства, будь то музыка, живопись, скульптура, создаются художником не только для узкого круга специалистов. Каждый человек находит в них что-то свое, переводя художественную знаковую систему на понятный его сердцу язык, отмыкая таинственные врата искусства собственным ключом. Проще сказать — он воспринимает факт так, как хочет его воспринять.

Шли мимо прохожие, пронеслись машины, а я все стоял, смотрел на гордый символ непобедимости народного духа.

Около справочного бюро, где я втайне надеялся встретить кого-либо из хозяев, не было ни души: оста-

валось предположить, что Ереван приветил меня гораздо раньше, чем мою же загодя посланную телеграмму. Ждать уже не имело смысла, и я решил действовать самостоятельно. В первую очередь нужно было разыскать гостиницу, а потом связаться по телефону с Союзом писателей и сообщить о своем приезде. Я вышел из здания вокзала, сел в такси, и мы помчались по прямым ереванским улицам мимо больших многоэтажных домов из разноцветного туфа. Вдоль широких тротуаров, мощенных нарядной цветной плиткой, высились подрезанные липовые и платановые деревья. Дорогу, видимо, недавно поливали и от нее веяло прохладной свежестью. Город просыпался, на огромной скорости пролетали первые машины. У перекрестков, перед красным глазом светофора, они на минуту притормаживали, а затем снова продолжали свой неудержимый бег. Замелькали торопившиеся по делам прохожие, вынырнули из темноты дворники с метлами наперевес, прогарцевали на мотоциклах-кибитках молочники в белых халатах.

— Куда ехать? — спросил шофер, прибавляя скорость после очередного перекрестка. — В «Армению» или в «Ереван»?

Судя по престижной громкости названий этих гостиниц, наверное, именно в них мои армянские коллеги предполагали разместить гостей. Потом, правда, я понял, что в Ереване несколько гостиниц, ни в чем не уступающих друг другу. «Армения» и «Ереван», расположенные в центре, на площади Ленина и на улице Хачатура Абовяна, принадлежат к числу зданий-старожилов, возведение которых, согласно генеральному плану застройки города, началось с 1924 года. Позднее построенный отель «Ани», а также совершенно новые «Двин» и «Раздан» от центра удалены, но это обстоятельство ничуть не сказывается на их популярности среди гостей столицы Армении.

Ни в «Армении», ни в «Ереване» не были уведомлены о моем визите. Звонить коллегам — зряшное дело: рабочее время еще не началось. Но, как говорится, нет худа без добра. Я стоял на площади Ленина, главной площади города. Именно с нее в конце двадцатых годов началось архитектурное обновление Еревана. Так что на первых порах лучшего места для знакомства со

столичными достопримечательностями вряд ли бы мне удалось сыскать.

Перед поездкой в Армению я встретился со своим давним другом арменологом Бондо Арвеладзе и попросил его снабдить меня соответствующей справочной литературой. Влюбленный в Армению, в ее многовековую культуру, ученый незамедлительно выполнил мою просьбу. Уже будучи в Ереване, я понял, какую огромную услугу оказал мне Бондо, и мысленно несчетное количество раз благодарил его за любезность.

Когда зовет тебя в дорогу муза дальних странствий, будь добр, отправляясь в чужую страну, познакомься с ее судьбой, с горестными и радостными вехами истории ее народа, если не хочешь, чтобы твое путешествие превратилось в бродяжничество глухонемого слепца. Горы, долины, даже самые памятные места, свято чтимые живущими поколениями, безъязыки и ничего не поведают праздношатающемуся заезжему человеку.

С этой точки зрения я не был полным невеждой и кое в чем мог разобраться сам, без посторонней помощи.

Ансамблевый стиль, весь архитектурный облик площади Ленина, на которой я сейчас стоял, производит неповторимое впечатление. Ее фонтаны, высокие арочные фасады сведенных в полукруг торжественных, я бы сказал, дворцовых строений, могли бы украсить самый красивый город мира. Прелесть сегодняшнего Еревана и, в частности, площади Ленина — результат многолетней планомерной работы строителей. Генеральный план застройки города, как я уже сказал, включал в себя и коренное преобразование архитектурного облика площади. Воплощение этого славного замысла в жизнь началось именно отсюда. Началось тогда, когда значительная часть городского населения жила в ветхих адамовских времен лачугах, крытых саманником. В продолжение долгих столетий Ереван был типичным азиатским городом с караван-сараями, базарами, мастерскими ремесленников и т. п. Не хватало питьевой воды, не было канализации и многого другого, необходимого горожанам для нормальной жизни.

Из общественно-административных зданий на площади в первую очередь выделяются Дом правительства, гостиница «Армения», Дом связи, историко-револю-

ционный музейный комплекс и Картинная галерея. Здесь же памятник вождю революции, поющие фонтаны и чудесный цветник, во все времена года радующий глаз узорчатым многоцветием.

К строительству Дома правительства приступили в 1926 году. Автору проекта, замечательному зодчему Александру Таманяну, тогда еще не было и пятидесяти. К осуществлению заветной мечты своей жизни — архитектурному возрождению армянской столицы он пришел автором многих великолепных зданий в различных городах России — Петербурге, Москве, Ярославле. Не лишним будет вспомнить, что когда Александр Таманян подарил Еревану — священному городу для всех армян, в каком бы уголке земного шара они не жили, — прекрасное, исключительно оригинальное здание оперного театра, он, как один из виднейших архитекторов нашего времени, был удостоен Большой золотой медали на Парижской международной выставке 1936 года. Всеобщее признание выдающегося архитектора явилось мировым признанием национальной армянской архитектуры, накрепко связанной с традициями классического зодчества. Дело всей жизни Александра Таманяна продолжили его многочисленные ученики. Это они в последние четыре-пять десятилетий придали городу вид, восхищающий любого, кто хотя бы раз наведывался в Ереван.

Дом правительства на площади Ленина без преувеличения можно назвать хрестоматийным образцом архитектурных сооружений. Огромный талант Таманяна сумел свести в единое художественное целое массивность форм и утонченность исполнения, масштабность и филигранную проработку каждой скульптурной детали. Величественную монументальность здания подчеркивают лестницы, использованные в качестве его естественного подножия, плавная аркада, венчающая строгие симметричные колонны, которые словно бы углубляют заднее пространство и создают впечатление объемного простора.

Все здания на площади полны индивидуального своеобразия и вместе с тем представляют собой цельный архитектурный ансамбль. Но в них привлекает не только совершенная исполнительская выразительность. Внимательно присмотревшись, понимаешь, что самый строительный материал во многом обуславливает эту выра-

зительность. Армения богата вулканическим туфом. Потухшие кратеры уже много веков исправно служат людям. А люди научились искусно применять ценнейший дар родной земли, максимально использовать природные особенности туфа: прочность, легкость, красочность. Кстати, последнему достоинству камня отводится главная роль в достижении цветовой гармонии. В армянском зодчестве ее отличает тоновая сдержанность, никогда не переходящая в броскую пестроту арабской или персидской архитектуры.

Дом правительства и гостиница «Армения» построены из розового туфа. Кроме него, на площади господствуют еще два цвета: из светло-желтого туфа — здания «Арабаттреста» и музейного комплекса; в серых тонах решены памятник Ленину, гостевые трибуны и расположенный перед картинной галереей бассейн с музыкальными фонтанами. За монументом вождю от площади ответвляется бульвар, украшенный 2750-ю фонтанами — по числу насчитываемых Еревану лет. В конце бульвара на не менее широкой площади находится скульптурный портрет Степана Шаумяна.

Пройдясь по ереванским улицам, внимательный человек непременно заметит на них большое количество памятников. Все они — плод вдохновенного труда современных армянских художников. Страницы истории народа, воплощенные в скульптурных образах его легендарных героев, встречаются в Ереване почти на каждом шагу, вот почему столицу Армении можно смело назвать городом памятников.

Известно, что ваение в пору своего зарождения с большим трудом принималось христианской церковью, симпатии которой были на стороне фресковой живописи; посему ни в Грузии, ни в Армении, незыблемых столпах христианства на Востоке, ваение не имело художественных традиций. Однако ни одной, ни другой стране это обстоятельство не помешало в короткие сроки преодолеть равный столетиям путь и внести свой весомый вклад в сокровищницу мирового изобразительного искусства.

Разве не бесспорным доказательством этого являются блестящий шедевр Ерванда Кочара «Давид Сагунский» в Ереване и великолепная скульптурная ком-

позиция Мераба Бердзенишвили «Подростут еще алгеи-ские волчата» в Марнеули?!

Ценитель искусства с удовлетворением отмечает в работах армянских скульпторов полное отсутствие оригинальничанья. Они не пытаются поразить наше воображение супермодерновым решением, за которым очень часто стоит неопределенность художественного замысла. В пластическом решении армянские скульпторы остаются верны модели, считая, что запечатленный в камне или бронзе скульптурный образ должен зримо соотноситься со своим реальным прототипом. Видимо, армянские ваятели лучше других своих коллег усвоили одну истину: скульптурное воссоздание реально существующих исторических личностей исключает вольное толкование, так называемую «творческую свободу» художника. Сущая беда, когда «творческая свобода» подменяется своеволием мысли, от которого не так уж далеко до воинствующего примитивизма и даже, если хотите, до святотатства.

Пишу это, и в памяти всплывают классические образы скульптуры великих мастеров прошлого: роденовский «Бальзак», «Портрет Гете» Кристиана Даниэля Рауха, гудоновский «Вольтер». Этот перечень я мог бы продолжить до десятка, до сотни примеров, но, думаю, что и трех достаточно. Впрочем, назову еще один: скульптурный портрет главного архитектора Еревана Александра Таманяна на улице его имени в кольце чудесных бульваров.

...Гордая, прямо посаженная голова с поредевшими волосами, классические черты лица. В облике чувствуются огромная воля и целеустремленность. Руки, лежащие на чертежной доске, взгляд, обращенный на ватманский лист, все говорит о непрестанной работе мысли замечательного зодчего. Как знать, может быть, именно сейчас он видит, говоря словами Егише Чаренца, «розовый Ереван», — город, который до него, Таманяна, никто не видел.

Монумент исполнен большой эмоциональной силы и проникновенного смысла. Смотришь и веришь: да, вот он, человек, свершивший, казалось бы, невозможное, человек, который принес, подобно древним армянским варпетам, свой талант, свой труд, свою жизнь на алтарь

служения Отечеству. И великая его человеческая суть с предельной ясностью передана в базальте!



3

Удивлению моего старого знакомого, поэта и драматурга Сагатела Арутюняна, оргсекретаря Союза писателей Армении, с которым я не раз встречался на различных литературных форумах, не было границ, когда он увидел меня с шубой и «дипломатом» в руках на пороге своего кабинета. Сагател стремительно поднялся, радушно обнял меня, тут же отыскал место моему нехитрому багажу и, прежде чем я успел что-либо сказать, рассыпался в извинениях. Оказывается, телеграмму мою принесли всего несколько минут назад — она еще лежала на столе,—и Сагател пребывал в полной растерянности: где искать приехавшего гостя?

После первых взаимных приветствий и расспросов настала очередь удивляться мне. Сагател сообщил, что по разным причинам проведение юбилея Раффи откладывается на несколько дней. Вместо восемнадцатого марта торжества должны состояться двадцать первого.

Такой поворот событий слегка обескуражил меня, хотя, как выяснилось далее, накладка с моим приездом произошла не по вине Союза писателей. Сагател срочно известил меня телеграммой о переносе юбилейных празднеств, но служба связи ввиду своих законных выходных — субботы и воскресенья — не доставила мне ее вовремя.

— Ну и опростоволосились, — досадливо протянул Сагател, подвигая стул. — Вардгес изведет меня упреками, но, видит бог, нет в том моей вины!

— Пустяки, незачем печалиться, бывает хуже, — успокоил я друга. — Подумаем лучше, что делать.

— Что делать? — удивился Сагател. — Сейчас поедem в гостиницу — за нами номера в «Раздане», вместе позавтракаем и позвоним Вардгесу, если он сам не появится к тому времени.

— Значит, вы решили на эти дни оставить меня здесь? Сегодня восемнадцатое марта, до юбилея еще целая вечность!

— Постараемся, чтобы она вам запомнилась. Вы же первый раз в Армении?

— Второй. Правда, то было двадцать-двадцать пять лет назад, и, кроме Эчмиадзина, куда мы попали за древнеармянский церковный праздник, да строившейся тогда в Ереване площади Ленина, я ничего не видел.

— Как вы добирались? Поездом, машиной?

— Взяли на один день автобус в «Интуристе».

— А, значит, вы и не ночевали здесь?

— Нет, вернулись в тот же день. Но поездка удалась на славу. Многих из тогдашних моих спутников уже нет в живых: Миша Мревлишвили, помните вашего коллегу? Тогда в театре Марджанишвили ставилась его новая пьеса «Лавина» с Серго Закариадзе в главной роли. Миша просто-таки светился счастьем. Георгий Шатберашвили, Мамия Асатиани, Эдишер Кипиани, все они были вместе со мной в Армении. Недавно попала мне в семейном альбоме фотография, снятая на память о поездке. Какие мы там молодые, какие красивые...

Эх!

— Севан видели? — хитровато прищурил глаза Сагатов.

— Со всех сторон. Как же без этого? И воду севанскую пили, и даже ишхан ели!

— Сегодня ишхана днем с огнем не сыскать.

— Что вы говорите?! Почему?

— Так уж случилось. За эти годы вода в Севане упала на двадцать метров. Ни наши просьбы не помогли, ни предостережения специалистов. Поверило руководство республики гидростроителям, поддержало их, а те — рады стараться — построили на Раздане, вытекающем из озера, целый каскад электростанций. Раздан — река невеликая, воды не бог весть сколько, а в засушливое время тем более. Вот и пришлось строителям скалы бурить, озерной водой Раздан пополнять, чтобы ирригационная сеть Араратской долины работала во всю мощь. Дорого стоила эта затея Севану. Не выдержал он такого удара и стал катастрофически мелеть. Помните посреди озера маленький островок? На нем еще церковь девятого века стоит?!

— Конечно. Мы к нему на лодке подплывали. И церковь помню.

— Так вот, сегодня никакая лодка не понадобится.

На машине подкатить можно. Остров давно уже полуостровом стал.

— Вспоминаю выступление вашего известного писателя Наира Зарьяна в Москве. Очень он был обеспокоен судьбой Севана. Лет-то сколько прошло?! Колхозы тогда еще укрупняли, отраслевые партийные комитеты организовывали, которые, впрочем, себя не оправдали. Речь Зарьяна набатным колоколом прозвучала.

— Увы, не помог набат. Теперь-то все всем ясно, спохватились, да поздно. Гидростроители, верившие в свою правоту, утверждали, что спуск севанской воды не скажется резко на ее запасах. Примерно в течение полувека, объясняли они, поверхность озера несколько уменьшится, следовательно, понизится коэффициент испарения — важного регулятора общего водного уровня. Однако поспешные эти раскладки оказались неприменимы к Севану — и вот результат.

После недолгого молчания я спросил:

— А как сейчас обстоят дела?

— Сейчас? Принято решение о восстановлении и сохранении первоначального запаса водных ресурсов Севана.

— И как собираются восполнить эти потери?

— Трудно сказать, когда и как все станет на свои места, хотя, правда, в Севан впадают тридцать рек, а вытекает лишь один Раздан.

— А чем помочь каскадным электростанциям и оросительной системе?

— Выход найдется. Времена изменились. Частично электростанции переведены на газ и другое природное топливо. Оросительная система обеспечивается водой из других, новых источников. Слышали о тоннеле Арпа-Севан? Арпа — довольно полноводная горная река, но о том, чтобы в обвод гор повернуть ее к Севану вчера еще трудно было мечтать. Люди все же решились. Сквозь толщу скалистых гор провели огромный тоннель. Длина тоннеля — сорок восемь километров, ни больше ни меньше. Представляете?! Наши строители, начиная с авторов проекта и кончая рядовыми проходчиками, арматурщиками, бетонщиками, проявили в этом деле, не считите за излишнее бахвальство, подлинный героизм. За год Арпа выбрасывает в Севан приблизительно три-

ста-четыреста кубометров воды — это полностью возмещает потери озера. Что скажете?

— Что тут говорить? — я пожал плечами. — Это великолепно! Поистине на уровне мировых стандартов!

— Собирайтесь, машина, наверное, уже ждет нас. Советую надеть шубу: по утрам у нас холодно, снег сошел совсем недавно.

— Честно говоря, я думал, здесь будет холоднее, потому и захватил шубу. Домашние настояли. Однако погода, по-моему, прекрасная, как бы не пришлось пиджаки снимать. А куда мы едем, если не секрет?

— В гостиницу «Раздан». Ее года два как построили. Вам понравится. Могу заверить, что «Раздан» ни в чем не уступает фешенебельным отелям Европы и Америки. Там позавтракаем, вы отдохнете с дороги, приведете себя в порядок, а к тому времени и Вардгес появится, — Сагател Арутюнян открыл заднюю дверь белой «Волги» и отступил, пропуская меня вперед.

— Сейчас мы находимся на проспекте Маршала Баграмяна. Он спускается вниз к Театральной площади, пересекая самую красивую городскую магистраль — проспект Ленина, — сказал Сагател и добавил, обращаясь к шоферу: — Покажем гостю город во всей красе.

— Как прикажете...

Мы тронулись с места, миновали две извилистые улочки, влились в бегущий поток разноцветных машин и, оставив позади бульвар, выехали на Театральную площадь.

— Это наш оперный театр, — сказал Сагател, указывая на круглое здание. — Построен в начале тридцатых годов по проекту академика Александра Таманяна. Вы слышали об Александре Таманяне, первом главном архитекторе Еревана? Здесь неподалеку стоит памятник ему.

— Да, я уже видел... А где похоронен Таманян?

— В Пантеоне писателей и общественных деятелей в парке Комитаса, на проспекте имени Серго Орджоникидзе. Там покоятся почти все выдающиеся люди Армении, скончавшиеся в наше время. Последний, с кем мы простились, был Ованес Шираз. Земля еще свежа на его могиле.

— Надеюсь, вы мне покажете Пантеон?

— Конечно! Разве вы отпустили бы меня из Тбилиси, не показав Мтацминду?

В это время наша машина вырвалась на широкую магистраль, по обе стороны которой стояли огромные здания из розового туфа. Я понял, что мы уже на проспекте Ленина, и сказал своему спутнику:

— Может быть, остановимся? Грех не пройти здесь сотню-другую шагов.

— Мы здесь еще не раз побываем. Центр города. Впрочем, если хотите, можем и сейчас остановиться, прогуляться немного.

«Только бы бог не отнял у меня мой проспект Руставели!» — вспомнилась мне строка поэта Ладо Асатиани. Вероятно, так же воспевают главный проспект своей прекрасной столицы и армянские поэты. Я смотрел по сторонам во все глаза, стараясь ничего не выпустить из поля зрения.

По ширине проезжей части проспект Ленина вряд ли уступает Садовому кольцу Москвы, а что касается просторных тротуаров, то такие я видел только в Ленинграде на Дворцовой площади да в некоторых столицах зарубежных стран.

Безупречно гладкие, словно теннисные корты, тротуары, покрытые керамической плиткой с изящным узором, тянутся по обеим сторонам вдоль всего проспекта, радуя глаз тонкостью работы, мастерством и любовным прилежанием людей, чьи имена останутся для нас неизвестными. Впрочем, у всех у них одно имя — трудолюбивый армянский народ.

Наверное, я мог бы без усталости описывать проспект. Я бы описал здания, фонтаны, аллеи — все то, что в единстве представляло одно художественное целое и разговор о чем доставляет подлинное удовольствие каждому доброжелательно настроенному человеку. Правда, я рискую скатиться в этих описаниях к излишней эмоциональной восторженности и все же не могу преодолеть соблазна поделиться с читателем впечатлением, которое произвело на меня классически строгое, гордо возвышающееся на цокольном монолите здание из серого базальта и розового туфа. Со стороны фасада бегут дружной парой — справа и слева — базальтовые лестницы, смыкаются на небольшом плато, словно в низком поклоне перед грандиозным монументом, а затем, раз-

ветвяясь, вновь устремляются вверх к массивным входным дверям. Серо-розовое здание замыкает проспект Ленина по всей ширине и прекрасно просматривается с любой его точки.

Это — детище армянских архитекторов и каменотесов, неизменно привлекающее внимание всех ступающих на благословенную ереванскую землю, — Матенадаран.

Слово это не нуждается в переводе. Оно одинаково звучит на всех языках мира. Матенадаран! Хранилище древних рукописей.

Во все времена главным хранителем армянских древних рукописей был Эчмиадзинский кафедральный собор.

Какие только беды и кровавые дожди не обрушивались на армянскую землю. Арабы, монголы, сельджуки не раз грозили ей полным опустошением. Но в самую лихую годину в Эчмиадзине, недоступные вражьему глазу, хранились в священной неприкосновенности древние рукописи — драгоценнейшее сокровище народа. Из года в год эта огромная коллекция пополнялась новыми списками, которые со всех концов света присылали в Эчмиадзин оторванные от родины, но хранящие ей верность и преданность ее сыны. Не считаясь ни с чем, приобретали они порой за баснословные деньги древние списки и всеми возможными путями доставляли их на родную землю.

В этой связи позволю себе напомнить читателю статью журналиста Зория Балаяна, не так давно опубликованную на страницах «Литературной газеты». В ней рассказывалось о трагической судьбе одной из известнейших армянских рукописных книг «Чарентыр», спасенной двумя девушками в пору кровавых событий 1915 года.

Сегодня эта книга — ценнейшая реликвия Матенадарана. Весит она тридцать четыре килограмма. На ее изготовление пошло семьсот телячьих шкур. Добавьте к этому переписку текста, миниатюры, и станет ясно, какова была цена книги. Простой горожанин и даже знатный армянин-нахарар не мог ее купить; здесь требовалась сумма, едва не равная царской казне.

Недаром, наверное, Константинэ Гамсахурдиа, которого в Армении почтительно называли варпетом —

мастером, как-то сказал, что ему искренне жаль безвозвратно минувших времен, когда мысли философов, писателей, богословов излагались на пергаменте. Этот дорогой для письма материал никто бы не позволил переводить на пресные вирши и бессмысленную сухую прозу. Уж к пергаменту-то на пушечный выстрел не подступился бы ни один борзописец.

В статье Балаяна речь идет, конечно, не о номинальной стоимости пергаamenta. Здесь разговор о других ценностях — нравственных!

В 1915 году, как известно, так называемая партия младотурков под преступным руководством своего лидера, некоего Талаат-паши, устроила неслыханную в истории человечества кровавую резню. В течение нескольких дней было перерезано около двух миллионов человек, которым предъявлялось обвинение лишь в принадлежности к армянской нации.

Эти азиатские предшественники фашистских иезуитов во всеуслышание нагло заявляли, что они ставят своей целью стереть с лица земли армянский народ, оставить в живых только одного его представителя и поместить в музей как экспонат, свидетельствующий о давнем существовании на свете такой нации. Смотрите, мол, любуйтесь единственным антропологическим образцом.

Первые капли армянской крови пролились в ночь на двадцать четвертое апреля. Этот день объявлен в Армении днем национального траура. Миллионы армян — на родине и за ее пределами — каждый год в конце апреля скорбно склоняют головы перед памятью жертв геноцида.

События в Западной Армении взбудоражили весь мир. Пронзительной болью отозвались они в сердцах грузин. Достаточно перечитать страницы грузинской прессы того времени, чтобы понять, каким набатным громом звучал голос нашего народа в защиту армян, каким огнем скорби и братского сочувствия полыхала душа Грузии!

На территории турецких вилайетов проживало большое количество армян. Значительная их часть вынуждена была спасаться бегством в Грузию, Ирак, Сирию, Египет и другие приграничные страны.

Среди охваченных ужасом беженцев были две обесилевшие девушки — дочери армянского священника,

в доме которого хранилась древняя рукопись «Чарентыр». Османские башибузуки ночью обрушились на спящий дом и вырезали всю семью. И только двум сестрам удалось убежать да еще забрать с собой драгоценную книгу. Изнемогая от голода и холода, преследуемые по пятам врагами, несчастные сестры бережно несли тридцатичетырехкилограммовую ношу. Ни за что на свете они не оставили бы ее на поругание врагу. Тридцать четыре килограмма — это приблизительный вес пулемета «Максим». На фронтах гражданской и Отечественной войн их переносили с позиции на позицию самые дюжие солдаты, да и те потом едва волочили ноги. Можете теперь себе представить мучения сестер, изнуренных голодом, томимых страхом перед врагом, отягченных непомерным грузом, который с каждым шагом становился все тяжелее. В конце концов, когда силы были на исходе, сестры разделили книгу на двое и, чтобы сбить врагов с толку, продолжили путь каждая в отдельности.

Много лет спустя одну часть книги обнаружили в Тбилиси, другую в Ереване. Как они попали туда?

Специалисты сличили обе половины и без труда установили, что имеют дело с частями одного и того же произведения. О, как возликовала армянская земля, когда собранная вновь в единый том огромная древняя рукопись была водворена в Эчмиадзин и заняла достойнейшее место в ряду других раритетов мирового значения!

Но кто же были эти девушки, мужественно спасшие «Чарентыр» от неминуемой гибели? Никто не знает их имен, никто не знает достоверно, на самом ли деле они были дочерьми священника. Наверное, это и не играет решающей роли, ибо именно безымянными героями силен народ!

Еще при составлении генерального плана застройки Еревана Александр Таманян предусматривал возведение Матенадарана. Но помешали война, экономические трудности послевоенного времени. Он был построен лишь в 1958 году. Сюда из Эчмиадзина переместилось государственное хранилище древних рукописей. Здесь же ведет свою работу по изучению многочисленных письменных памятников, созданных народом, Институт древних рукописей Академии наук Армении.

В коллекции Матенадарана находятся манускрипты не только чисто армянского происхождения. Здесь можно встретить рукописи на русском, персидском, греческом, латинском и других языках. Имеется и несколько грузинских рукописей.

Интересно отметить, что Матенадаран, хотя и богатейшее, но не единственное в мире хранилище древнеармянских рукописей. Четыре тысячи древнеармянских манускриптов насчитывает библиотека армянской патриархии в Иерусалиме, предположительно столько же содержится в монастыре святого Лазаря в окрестностях Венеции. Кстати, здесь, в колонии мхитаристов, жил и наш замечательный соотечественник Петре Харисчирашвили, который при поддержке армянской монашеской братии печатал в ее типографии грузинские учебники. Напечатать было еще полдела, не меньшие трудности представляла пересылка книг на родину, в Грузию, где только-только начали зарождаться национальные школы.

Богатые коллекции армянских рукописей хранятся в Вене, Исфагане, Тегеране, Париже, Нью-Йорке, Лондоне (лично я в Британском музее видел армянский перевод Библии шестого века). Добавим сюда музеи и библиотеки Балтимора, Вашингтона, Москвы, Ленинграда, Тбилиси. Что уж говорить о частных коллекциях, рассеянных по всему свету!

Армяне, которые родились за пределами родины и ни разу не видели ее, наряду с родным языком как зеницу ока берегут написанные на этом же языке древние рукописи, доставшиеся им по наследству. А сколько музейев и частных коллекционеров охотятся за этими рукописями?! Они готовы заплатить бешеные деньги, лишь бы заполучить их. Но продажа рукописи, обращение ее в деньги для каждого честного армянина равно измене родине, и он скорее согласится расстаться с жизнью, чем с рукописью. Единственное место, куда армянин может передать святыню, причем совершенно безвозмездно, это — Матенадаран!

Пишу эти строки и вспоминаю большого радетеля грузинской истории, академика Эквтиме Такашвили. Скольким письменным памятникам он не дал бесследно кануть в Лету, в самый последний момент приходя к ним на помощь! Среди них уникальное «Уложение цар-

ского двора» — свод законов грузинского права, случайно обнаруженный ученым-патриотом в одной княжеской семье. Не окажись там в ту минуту Такаишвили, девочка-служанка преспокойно бы выбросила растерзанную рукопись вместе с мусором. А разве мало было свидетелей того, как на тбилисских базарах грузинские рукописи шли на кульки для малосольных огурцов и маринованного джонджоли? Не об этом ли в сердцах сказал поэт:

Трудно мне сдержатъ свой гнев
Среди рыночных рядов,
Где за горстку медяков
Продают народа голос!

Но что мог сделать один Эквтиме Такаишвили, если все остальные по ветру пускали собранные по крупичкам сокровища? Не зря говорится у нас: «и море ложкой вычерпаешь»: добавьте ко всему события тридцатых годов, когда, отуманенная извращенной антирелигиозной пропагандой, наша молодежь вместе с верой в бога стала рушить святейшие для народа церкви и монастыри и сжигать хранившиеся там рукописи. К счастью, вскоре государство взяло под охрану все памятники старины — будь то древние рукописи или творения архитектуры. Если бы это не произошло, если бы не восторжествовало гражданское мужество истинных патриотов, не исключено, что сегодня мы бы являли собой жалкий образец безродного племени, по собственной недалековидности увязшего в трясине варварства.

В Армении, видимо, по-иному отнеслись к делу. Здесь с самого начала бережно охраняли и пополняли национальные сокровищницы.

Матенадаран по объему своих рабочих и запасных фондов — одно из крупнейших хранилищ мира. Здесь собрано более десяти тысяч манускриптов и четыре тысячи фрагментарных произведений. Свыше ста тысяч архивных документов Матенадарана описывают события мировой истории, начиная с древнейших веков до христианской эры.

Впечатления одного утра были настолько богаты, что трехдневная задержка празднований юбилея Раф-

фи уже не вызывала во мне недовольства. Эти четыре дня, решил я, можно провести с большой пользой и в конце концов осуществить свою давнюю мечту: глубже и ближе познакомиться с братской Арменией.

Что является в Армении главным, неповторимым, объединяющим началом, вокруг которого группируется все остальное и в результате предстает единым живым организмом? Это — библейский Арарат, по-армянски — Масис, с двумя — большой и малой — тупыми вершинами, разделенными заснеженной седловиной. Они и называются соответственно — Большой и Малый Арарат.

Арарат — символ Армении. Без него просто трудно представить эту маленькую горную страну. Потому что гордый красавец Арарат, возле которого, по библейскому преданию, во время потопа остановился Ноев ковчег, изображен на государственном гербе Армении.

У Арарата одно удивительное свойство: где бы ты ни был на армянской земле, он постоянно с тобой, вечно рядом, смотрит на тебя упирающимися в небо вершинами, готовый, казалось бы, войти в душу и навсегда поселиться там.

Житница Армении, ее кормилица — Араратская долина. Огромный низинный край между Гегамским хребтом и Араратом, обильно политый потом и кровью армянского крестьянина. Долина эта — сердце Армении. Достаточно вспомнить, что почти все первопрестольные города древнеармянского государства — Ервандашат, Армавир, Арташат, Двин, Ани — располагались именно в Араратской долине. Ее земля и поныне хранит остатки этих городов, много веков назад поражавших воображение великолепием своих дворцов и храмов. Здесь же раскинувшись у подножий Гегамского хребта Еревану в 1440 году был предоставлен статус административного центра Восточной Армении.

Араратскую долину всевышний поистине осенил своим знаменем. Пожалуй, мало на свете плодов, которыми бы не смогла одарить человека эта благодатная земля. Чего только не встретишь в местных садах и огородах?! В пору плодоношения, налившись под жарким южным солнцем сладчайший соком, несравненным ароматом наполняют округу знаменитые армянские персики. Из прозрачного, с тонкой кожицей, медового

винограда, наряду с высококачественными марочными винами приготавливают ценнейший коньячный спирт.

Известный грузинский промышленник-коммерсант Давид Сараджишвили был инициатором и участником всех крупных деловых начинаний у себя на родине. Скопив немалое состояние за счет производства и продажи марочных вин, он первым в Российской империи стал выпускать коньячные изделия. Предприятия Сараджишвили были разбросаны по всему Кавказу, в том числе один из заводов находился в Ереване. Именно благодаря Сараджишвили местное коньячное сырье вскорости получило самое широкое признание.

Величественный Арарат — вечный символ родины, одновременно радостью и печалью наполняет сердце каждого армянина, сердца всех друзей армянского народа. Радостью оттого, что эта святая гора — живое олицетворение бессмертия многострадальной родины! А печалью?! Как же не печалиться, если она, эта гора, находится за пределами страны!

Взглянет с ереванских холмов на Арарат несведущий человек, и ему в голову не придет, что всего лишь в часе езды отсюда, у южной оконечности Араратской долины, там, где река Ахурян несет свои быстрые воды к Араксу, Армения кончается.

И разве только Арарат — ноющая рана армянского народа? За Ахуряном, на территории нынешней Турции, остался некогда цветущий, прозванный «городом тысячи храмов» первопрестольный Ани — гордость и краса династии Багратидов. Лишь ветер гуляет здесь сегодня среди развалин.

Ахурянский каньон хорошо помнит цокот копыт грузинской конницы, боевые клики всадников, пришедших на помощь Ани в лихую годину.

Анийцы восстали против многолетнего владычества курдских феодалов Шеддадидов и обратились к могущественному грузинскому царю Давиду Строителю с просьбой облегчить горькую участь единоверных братьев. Давид Строитель, прославивший свое имя еще в Дидгорской битве 1121 года, когда грузины наголову разбили в десять раз превосходившее их войско турков-сельджуков (по свидетельству армянского историка Матвея Урхаеци, оно составляло 560 тысяч человек) тут же, без колебаний, с шестьюдесятью тысячами всад-

ников выступил в поход. В жестоком бою у стен Ани Давид одолел грозного врага и вернул город его законным хозяевам — армянам.

Говорят, что после битвы Давид Строитель подошел к могиле армянской царицы и обратился к покойной с такими словами: «Родина твоя и город твой освобождены от неверных. Спи спокойно, пусть тебя не тревожит судьба отчизны!»

Давид присоединил к Грузии Ширак и Ани, но внутреннее самоуправление здесь всегда осуществлялось армянами. Наконец-то город, переживший множество бед, вздохнул свободно.

Турки-сельджуки не унимались. Они никак не хотели выпустить из рук лакомый кусок. В 1126 году, когда царя Давида Строителя уже не было в живых, большое войско Шеддадида Фадлуна вторглось в Ширак и осадило Ани. В исторических летописях обоих народов сообщается, что правящая верхушка и торговцы, которым Фадлун пообещал сохранить классовые привилегии, готовы были впустить врага в город. И тут на защиту родной земли грудью встали простые граждане Ани — становой хребет народа. Завязался неравный бой. Бой не на жизнь, а на смерть. Все население Ани от мала до велика взяло в руки оружие. В памяти веков обессмертила свое имя женщина-героиня Айцемник. Раненная, истекавшая кровью, она не оставила поля боя и стрелу за стрелой посылала в наступавших врагов, вдохновляя обессилевших защитников крепости. К этому времени как раз подросло войско грузинского царя Димитрия. Бой разгорелся с новой силой. Прозрачные воды Ахуряна окрасились кровью. Крики сражавшихся и стоны раненых оглашали окрестность. Нелегко пришлось в этой схватке грузинам: врагов было гораздо больше. Димитрий уступил Ани Фадлуну, правда, на переговорах вытребовав у него обещание не притеснять мирное население и оставить без изменения законы, учрежденные еще Давидом Строителем.

В 1161 году грузинские войска под предводительством Георгия III, отца будущей царицы Тамар, вновь предприняли попытку освободить Ани из-под ига турков-сельджуков. На этот раз кровопролитная битва закончилась победой грузин. В бою за взятие Ани особо отличился сардал передового отряда грузинской конни-

цы, азнаур Саргис. Этот отважный рыцарь, которого соотечественники почтительно величали Мхаргрдзели, принадлежал к роду Закаридов, сыгравшему большую роль в средневековой истории Грузии и Армении. Представители этого славного рода, верные Багратионам, стали крупными государственными сановниками и военачальниками. Некоторым из них были пожалованы самые высокие титулы и переданы в вечное пользование земли тех провинций бывшего армянского царства, которые в течение последних десятилетий находились под покровительством Грузии.

Если взойти на высокую скалу, с которой, быть может, некогда Давид Строитель приветствовал свои полки, и приставить к глазам бинокль, то на противоположном берегу реки нетрудно разглядеть руины кафедрального собора — былой гордости Ани.

Что может быть горше и тоскливее подобного зрелища, тем более для тех, чьи пращурьы когда-то создали красоту, от которой ныне — лишь руины... Ничего, кроме руин! Обрушившиеся своды, валяющиеся в пыли купола... Уставившиеся в небо, словно молнией рассеченные надвое, ионические колонны; местами, как из преисподней, выступающие из-под земли ступени парадных лестниц. Сиротливо торчащие по обеим сторонам Ахуряна опоры исчезнувших мостов. Будто самому пронесся над округой, все уничтожил на своем пути, обратив в пустыню некогда кипевшие жизнью места.

Но чье же безжалостное проклятие более восьмисот лет тому назад зависло над этим великолепным городом — жемчужиной Востока, оплотом христианской культуры? Кто обрек на смерть тысячи человеческих жизней, сравнял с землей храмы и дворцы?

Это все они, изгой рода людского, те, кто столетия спустя 24 апреля 1915 года совершили новое чудовищное злодеяние: два миллиона армян — женщин, стариков, детей — пали от рук извергов.

Разве может бесследно зарубцеваться такая рана, разве может случившееся порости травой забвения? Нет, никто не забыт и ничто не забыто! Есть в Ереване гора Циернакаберд, что в переводе означает Замок ласточки. Расположена она на видном месте и отлично просматривается со всех концов города. В 1967 году на ней возвели величественный монумент в память жертв

вам геноцида. После Эчмиадзина, центра притяжения рассеянных по всему свету сынов Айастана, Цицернакабердский мемориал, наверное, второе святейшее место в Армении, где каждый армянин преклоняет колени и с замиранием сердца клянется в вечной преданности многострадальной отчизне, народу и языку.

Мертвые зывают к памяти живых, живые проносят эту память через всю жизнь.

Признаться, к своему стыду, раньше я не знал о существовании мемориала и теперь, коря себя за непростительное неведение, горел желанием подняться на Цицернакаберд.

— Конечно. Знакомство с Ереваном как раз отсюда и начнем, — охотно откликнулся на мое желание Вардгес Петросян. — Кстати, помимо мемориала и национального парка, на Цицернакабердском плато вас непременно заинтересует еще одно недавно отстроенное здание.

Невысокого роста, чернобровый, с копной темных волос на голове, Вардгес Петросян, несмотря на свой сравнительно молодой возраст — не так давно ему исполнилось пятьдесят лет — вот уже долгое время стоит во главе армянских писателей. Благодаря таланту, глубокой образованности, интеллигентности, он пользуется непреходящим авторитетом среди коллег и читателей. Лично я убеждался в этом не раз. Пока что главной книгой своей жизни Вардгес считает «Армянские эскизы». Это произведение — сплав беллетристики и публицистики — выдержало уже несколько изданий на родном языке автора. Оно известно в странах Европы, Азии, Латинской Америки, а в год пятидесятилетия Петросяна с «Армянскими эскизами» смог познакомиться и грузинский читатель.

О чем же повествует эта книга Вардгеса Петросяна? Об Армении! Грустная и одновременно полная светлых надежд песнь об Армении.

Хорошо помню нашу первую встречу с Вардгесом в Георгиевском зале московского Кремля: после одного крупного собрания мы оказались рядом за банкетным столом. Потом были скорбные дни прощания с Константи́не Гамсахурдиа; Вардгес разделил с нами боль тяжелой утраты. И, наконец, в дни пятидесятилетнего юбилея писателя, на торжественном вечере в тбилис-

ском Доме актера мне довелось выступить с приветственной речью. Я вспомнил, как еще в детстве впервые прочитал туманяновского «Гикора» и проникся горячим сочувствием к обездоленному герою, так ярко выписанному чародеем армянской литературы. Вардгес Петросян, отметил я тогда, прочно стоит на гуманистических позициях Ованеса Туманяна. «Впечатления от прочитанной книги, — добавил я, — нет-нет и сейчас щемящей болью отзываются в сердце!»

Той же ночью за дружеским столом, в присутствии близких друзей, мы с Вардгесом Петросяном в знак обоюдного расположения к двум братским народам заключили джентльменское соглашение: я обязался написать книгу об Армении, он — о Грузии.

Собственно говоря, историческая тема армяно-грузинских взаимоотношений не обойдена в нашей литературе молчанием. Любители поэзии, несомненно, помнят прекрасное классическое стихотворение Александра Чавчавадзе «Озеро Гокча». И лучшие грузинские поэты современности Тициан Табидзе, Симон Чиковани, Иосиф Нонешвили, Мурман Лебанидзе посвятили Армении немало вдохновенных строк. Правда, если мне не изменяет память, того же нельзя сказать о наших прозаиках.

Договор с Вардгесом показался мне весьма полезным и своевременным. Было условлено выпустить книги на обоих языках одновременно в Грузии и Армении, причем параллельные тексты поместить в одном томе.

После той памятной встречи прошло два года. Мы с Вардгесом вели переписку, напоминали друг другу о данном обещании, но, увы, выкроить время для осуществления нашего замысла никак не могли.

— Грешно упускать такой счастливый момент, — сказал я Сагателу Арутюняну, когда мы вернулись из гостиницы в Союз писателей и попали в радушные объятия Вардгеса Петросяна. — Раз уж я приехал за три дня до юбилея Раффи, не мешало бы провести их с пользой для дела. О книге я пока не заикаюсь, но на пару-другую газетных страниц моего краткого пребывания в Армении должно хватить.

— Ну, что же, нам и карты в руки! — радостно улыбнулся Вардгес. — Времени, правда, мало, но если использовать его с толком, многое можно успеть. Тем

более, я надеюсь, что это не последняя наша встреча на армянской земле.

— Конечно! — горячо откликнулся я. — Приезжай я сюда почаще — уже бы все, наверное, знал как свои пять пальцев. А ведь обязан знать!

— Не беда, еще наверстаем упущенное — было бы здоровье, — по-прежнему улыбаясь, приободрил меня Вардгес. — А Сагател и наш молодой критик Геворк Хачатрян помогут вам в этом. Хачатрян — тезка Геворка Эмина, так что, думаю, его имя вы легко запомните. В русской прессе он порой печатается под псевдонимом Атрыан. Очень способный и образованный литератор. Недавно, возможно, вы читали, у него было интересное интервью с Чингизом Айтматовым. Геворк будет вас всюду сопровождать и обо всем информировать. В вашем распоряжении машина. Мы, к сожалению, не можем к вам сейчас присоединиться. Вчера скончались два наших престарелых писателя. Впереди печальные хлопоты: панихида, похороны. Так что, вы уж простите великодушно...

— Примите мои искренние соболезнования.

— Спасибо. Что ж, такова жизнь. Все, как говорится, под богом ходим. А вот и Геворк Хачатрян! Познакомьтесь, пожалуйста!

В кабинет председателя неслышно вошел и застенчиво приблизился к нам невысокий молодой человек лет двадцати восьми. Тыльной стороной ладони он убрал со лба свисавшую прядь черных волос, поздоровался с нами. Геворк уже знал, что ему предстоит быть моим гидом в поездке по окрестностям Еревана и подготовился к этому. Он принес с собой несколько сверкавших глянцевыми обложками справочников и план-карту столицы Армении. Я тотчас развернул план и с интересом стал всматриваться в графический облик Еревана. От центральной площади Ленина концентрическими кругами расходилась густая сеть близлежащих улиц, в некоторых местах пересекаемая жирными линиями основных транспортных магистралей. Глядя на план, не стоило больших усилий понять, что от патриархального, веками стихийно отстраивавшегося Еревана осталось разве только полдюжины улиц да столько же культовых сооружений! древними гравюрами вписывающихся в архитектурную новь города. Первоначальный вариант

генерального плана застройки города составил главный архитектор Еревана Александр Таманян. Когда-то в начале двадцатых годов этот план казался неосуществимой мечтой, а сегодня, переключившись с ватманского листа в жизнь, он стал чудесной реальностью.

«Моя Армения» — так любовно называл родину Александр Таманян. В свою Армению он приехал в первые годы ее советизации и, умудренный жизненным опытом, уже будучи признанным метром архитектуры, тотчас приступил к разработке и составлению генерального плана. Таманяну помогала большая группа таких же, как он патриотически настроенных армянских архитекторов, художников, скульпторов. Всем своим существом они выстрадали великую идею возрождения родного города и, самое главное, — материализовали ее!

В те далекие годы население города не превышало двадцати-тридцати тысяч, но генеральный план застройки столицы, утвержденный правительством республики 3 апреля 1924 года, был прозорливо составлен с расчетом на увеличение числа жителей к концу тридцатых годов до ста пятидесяти тысяч человек. Тогда, в 1924, никто не мог представить себе, что демографическая кривая так стремительно поползет вверх, и через шесть десятилетий Ереван станет городом-миллионером!

— Ну как, Геворк, покажем нашему уважаемому гостю Ереван? Лучше тебя этого никто не сделает. С чего начнем? Не забывай, что в нашем распоряжении всего четыре дня. Двадцать первого — юбилей Раффи, и, если мы не воспрепятствуем, гость в ту же ночь уедет домой, — сказал, обращаясь к молодому человеку, Вардгес.

Геворк Хачатрян с горячей готовностью средневекового послушника смотрел на Вардгеса, будто стремясь предугадать каждое его слово.

Еще утром я наметил для себя предварительный план поездки: в первую очередь хотелось посетить мемориал на Цицернакабердском плато, затем побывать в Пантеоне писателей и общественных деятелей, Матенадаране и, наконец, если останется время, съездить в Гарни и Гегард, увидеть воочию шедевры древнеармянского зодчества.

— Погода отличная, солнце светит вовсю. Но кто поручится, что завтра вновь не задождит? Поэтому, не

лучше ли осмотр городских достопримечательностей оставить на последний день, а пока отправиться за город? — предложил Вардгес.

— С удовольствием! — согласился я. — Но куда?

— Например, в Гарни. Там и Гегард рядом. В дождливую погоду они не смотрятся, а если туман — совсем худо! Так что стоит поторапливаться. Не так ли, Сагател?

— Конечно же! — всполошился я, не дав Сагату Арутюняну вымолвить словечка. — В дорогу, не будем терять ни минуты!

— Значит, в Гарни? — приподнялся над массивным письменным столом Вардгес. — Желаю доброго пути и хороших впечатлений. Машина на месте? — этот вопрос адресовался Геворку Хачатряну.

— Ожидает нас у подъезда!

5

Мы слегка изменили маршрут и вместо Гарни вначале направились к Циернакабердской горе или, как здесь говорят, к Циернакабердскому плато. Сердце подсказывало мне, что этот обязательный ритуал — дань памяти тысячам сынов и дочерей армянского народа. К тому же, разве у меня не было на то личных причин?! Османская империя во все века являлась злейшим врагом Армении и Грузии. Сколько раз заносила она меч над этими двумя странами! Ненавистники христианского Востока, османы, правда, не проводили в Грузии политики гевоцида, но как сосчитать те кровавые злодеяния, которые, начиная с одиннадцатого столетия, они творили на грузинской земле?! Угрожающих размеров бесчинства турков достигли в XVI—XVII—XVIII веках. Горы и долины Картли по сей день изъязвлены следами губительного нашествия Мустафы Лалаша в 1578 году. Часть мирного населения он истребил, часть взял в плен, низверг грузинский престол и объявил многострадальную Картли Тифлисским вилайетом. Имерети, Абхазия, Гурия, Самегрело помнят тысячеголосый плач на базарных площадях юных девушек, предназначенных для продажи в гаремы, скупые слезы юношей, чьим уделом стала подневольная служба в отрядах янычаров. А как забыть сотни сожженных сел,

оскверненные храмы, вырубленные сады и виноградники?!

Чтобы с проспекта Маршала Баграмяна попасть на Цицернакабердское плато, нужно пересечь новый арочный мост через Раздан, миновать один из крупнейших в стране стадионов, на котором всеобщий любимец местных болельщиков — «Арарат» проводит свои футбольные матчи и, оказавшись на Киевском проспекте с его современными административными зданиями из розового туфа, выехать к голому каменистому полю.

Армения! Камень, щебень, скудная малопродуктивная земля — в мире не так уж много стран с подобной структурой почвы. Но, может быть, как раз тяжелыми природными условиями родного края объясняются некоторые свойства национального характера армянского крестьянина: необыкновенное трудолюбие, долготерпение, изобретательность. Ведь каких адских трудов стоило ему на небольшом клочке пахотной земли среди царства камней вырастить хлеб для семьи!

Мытарства эти продолжались сотни лет, до той самой поры, когда избавившийся от вражеских нашествий армянин отложил в сторону меч и взял в руки кирку и лопату.

Грустным образцом такой малопродуктивной для использования ландшафтной среды были когда-то и окрестности Цицернакаберда. Сегодня здесь шумит листвою молодых деревьев Национальный парк, раскинувшийся на нескольких десятках гектаров. А еще совсем недавно плато поначалу отпугивало своей унылой пустотой даже самых неисправимых мечтателей. Но на то они и неисправимы — эти мечтатели! Разве мало их в сегодняшней Армении? Годами вынашивая в сердце заветные мечты, сталкиваясь, на первый взгляд, с непреодолимыми трудностями, они упорно борются во имя торжества разума и красоты. Борются и побеждают! Талант, знания, смелость, бескорыстие и, главное — любовь к Матери-Армении, забота о ее завтрашнем дне движут этими людьми.

Жив и, хочется верить — будет вечно витать над столицей Армении дух великого творца — Александра Таманяна, первым увидевшего в своих грезах ожерелья садов и серебряные фонтаны Еревана!

Но вернемся к Цицернакабердскому плато. Цвету-

шее ныне на нем диво — итог работы не только проектировщиков, инженеров, художников. Для разбивки Национального парка на месте прежнего пустыря потребовались тысячи рабочих рук. И Армения протянула их! Не говоря уже об ереванцах, в стороне от большого народного дела не остались жители самых отдаленных горных селений. Заработали мощные агрегаты, поползли по отвесным склонам десятки бульдозеров. Огромные «Кразы» привозили из Араратской долины чернозем: полным ходом шла подготовка почвы для зеленых насаждений.

Я вдруг почувствовал себя причастным к труду тысяч людей и представил себя в их рядах — молодецкатым, с засученными рукавами, жадным до любого дела на благо Отечества!

Геворк Хачатрян безошибочно угадал мое настроение и, едва мы ступили на аллею Национального парка, затененные молодыми ухоженными липами, спросил:

— Нравится? А что здесь было раньше?! Все своими руками сделали!

От этих искренних, простых, невзначай сказанных слов у меня комок подступил к горлу, и сердце переполнилось какой-то странной, непонятной радостью. А спутник мой увлеченно, вздохнул продолжал рассказывать историю создания Национального парка и с таким интересом, с таким нескрываемым восхищением глядел на окружающую нас красоту, что, казалось, будто и он попал сюда впервые.

Мемориал — выложенная крупными базальтовыми плитами просторная четырехугольная площадь, способная одновременно принять несколько тысяч человек, — находится на вершине горы. В конце площади высится островерхая, рассеченная надвое гранитная стела. Это образное художественное решение олицетворяет, с одной стороны, безрадостный факт рокового разделения родины на две части, с другой — гордо заявляет о несгибаемом духе народа, его готовности к борьбе за счастливое будущее.

Пройдя мимо обелиска к той части мемориала, что обращена в сторону Раздана и городских заречных новостроек, окажешься перед широкой лестницей, полого спускающейся в довольно глубокую кратерообразную чашу. Здесь на мраморном возвышении ярко пылают

вечный огонь в память тех, кто погиб во времена геноцида. словно кольцом могучих сказочных дэвов окружают вечный огонь наискось поставленные пидоны по числу турецких вилайетов, которые когда-то, на заре нашей эры, были провинциями Великой Армении. С незапамятных времен там жили армяне. В черную пору геноцида османские изверги истребили их едва ли не поголовно. Звучит реквием Комитаса, траурная мелодия пронизывает тебя дрожью, и сердце твое, как и сердца всех людей, кому понятно чужое горе, сжимается от боли.

Каждый год 24 апреля у вечного огня на Цицернакабердском плато вся Армения склоняет голову перед памятью погибших соотечественников. Со всех концов земного шара съезжаются сюда сыновья и дочери армянской земли, чтобы возложить цветы к подножию мемориала, проникнуться возвышающей душу музыкой Комитаса и уронить святую слезу на серые базальтовые плиты. Нескончаем поток людей. Рядом с членами правительства идет духовенство во главе с патриархом-католикосом всех армян Вазгеном I, идет творческая интеллигенция, идут ученые, рабочие, студенты, школьники — все, кто хранит в своем сердце частицу этого Вечного огня, все, в чьих жилах течет горячая кровь памяти. Никаких клятв, никаких заверений, никаких речей. На Цицернакаберде воцаряется торжественная тишина. И в этой тишине — неизбывная скорбь и неизбывная сила тысяч людей.

При входе на площадь я заметил табличку с надписью на армянском языке.

— На территории мемориала курение запрещено, — ответил Геворг на мой вопросительный взгляд.

24 апреля 1985 года скорбный церемониал в связи с семидесятилетием кровавых событий в Западной Армении принял небывалые дотоле масштабы. Даже многие армяне, прибывшие к этому дню из разных стран мира, долго не могли пройти к мемориалу: на склонах Цицернакаберда яблоку негде было упасть.

Кстати, об этих армянах разговор особый. Они — прямые потомки тех, кто в последнюю минуту вырвался из рук варваров и, спасая жизнь, устремился в прикордонные страны. Шло время. Судьба еще больше отдалила их от любимой родины, разбросала по всему све-

ту. Не исключено, что, благодаря природным способностям и характерному для каждого армянина упорству, эмигранты преуспели в житейских делах, заняли прочное общественное положение, сколотили состояния. Но много ли значит эта улыбка фортуны в сравнении с весенней кипенью арташатских персиков, которую зачастую, увы, они могут увидеть только во сне?!

Весь день, всю ночь, прорезанную мощными прожекторами, шли к Вечному огню люди, словно там, у Цицернакаберда, бил неиссякаемый источник живой воды, и каждый жаждал испить свою долю!

6

Посещение мемориала вызвало во мне чувство безмерной печали и одновременно—духовного возвышения. Так бывает, когда слушаешь великую музыку, созерцаешь бессмертные творения искусства или любишься неповторимыми красотами природы. Я будто сам, лично, присутствовал при тех событиях, о которых только что по мере сил рассказал. И еще раз убедился: ураганные бури истории могут перенести лишь народы, чья внутренняя сущность зиждется на высоких гуманистических идеалах, способности вершить добро и беззаветно-жертвенной любви к родине.

Мы ступили на тропинку, посыпанную ярко-красной кирпичной крошкой и, заметно укоротив путь, вышли к автомобильной стоянке.

— А это что за здание — сплошной модерн? — спросил я у Геворка, когда мы подошли к нашей машине.

— Спортивно-концертный комплекс. Не так давно вступил в строй. Тоже всем миром сооружали.

— Вспомнил! Вардгес говорил мне про этот комплекс: обязательно, мол, понравится.

— Ну и как, нравится?

— А нельзя ли взглянуть поближе?

— Отчего же нельзя, сейчас, — Геворк открыл заднюю дверь машины и пропустил меня вперед.

— Издали он не такой уж большой, но это впечатление, наверное, обманчиво.

— Вы правы. От других я слышал то же самое. Кстати, и стадион «Раздан» снаружи вроде невелик,

оценить его по достоинству можно также только вблизи.

Мнение моего молодого спутника не нуждалось в дальнейших подтверждениях. Казавшиеся малыми размеры спортивно-концертного комплекса удивительно гармонично сочетались с внешними архитектурными формами; действительная же грандиозность здания открывалась только в непосредственной близости от него.

Комплекс построен по последнему слову техники, в модернистском стиле и невольно вызывает ассоциации с лучшими зданиями подобного зрелищного типа, возведенными за последние годы в Америке, Японии, Бразилии.

Несколько забегаю вперед, скажу: в Ереване немало прекрасных новостроек, среди прочих — три поистине уникальных сооружения. Это спортивно-концертный комплекс, кинотеатр «Россия», три зала которого вмещают до трех тысяч зрителей, и современного образца аэропорт «Звартноц». Все эти здания построены по проектам одной и той же группы молодых армянских архитекторов, и даже непосвященный в суть дела человек легко заметит между ними что-то общее. Оригинальные конструкции перекрытий словно бы парят в воздухе, тем самым предоставляя максимальную возможность рационального использования пространства. Вертикальные опоры, горизонтальные поперечины — пластичны, легки, сбалансированны.

Слов нет, снаружи спортивно-концертный комплекс был великолепен. А внутри? Мы обошли здание со всех сторон, но все стеклянные двери были наглухо закрыты. За ними зеркальным, манящим светом сверкал широкий, абсолютно безлюдный вестибюль. Куда же все подевались? Неужели и впрямь этот дворец-великан оставлен без присмотра?

— Такого не может быть, — уверенно заявил Геворк. — Обслуживающий персонал здесь днюет и ночует. Кроме того, идут занятия в кружках, студиях. Пойду-ка поищу служебный вход.

Он вскоре вернулся и повел меня за собой. По узкой гранитной лестнице, стиснутой двумя глухими стенами, мы поднялись наверх, открыли стеклянную дверь и очутились в гардеробной. На вешалках висели с полдюжины пальто да пара дождевиков. Гардеробщица — пожилая женщина в очках, ничем не отличавшаяся от

всех своих прочих коллег, каких мне довелось видеть, чинно сидела на стуле и вязала носок. Пока мы сообщали, что делать дальше, из глубины коридора появилась седоволосая, строгая на вид женщина в синем рабочем халате, молча подошла и вопросительно посмотрела на нас: кто такие, мол, чему обязаны вашим визитом? Геворк зачесал затылок, покраснел, словно незадачливый ученик — застенчивость, видно, была врожденной чертой его характера, и стал что-то говорить по-армянски. В разговоре я уловил слово «враци»¹ и понял, что речь шла обо мне. Женщина, ничуть не изменившись в лице, выслушала все до конца, потом подошла к телефону и взяла трубку.

— Как обстоят дела? — шепотом спросил я у явно нервничавшего Геворка. — Может быть, мы не вовремя? Не будем беспокоить людей!..

— Ну что вы, все в порядке, — ответил он и привычным жестом руки убрал со лба жесткую прядь волос. — Эта женщина — комендант. Она упрекнула меня, почему заранее не предупредили о приходе. Сейчас она позвонит директору и нам пришлют экскурсовода.

Экскурсоводом оказалась элегантная молодая женщина лет двадцати пяти — работница информационного центра. Строгое выражение лица — почти как у комендантши — и сдержанная плавность движений придавали ей в меру официальный вид. Здороваясь, она вежливо поклонилась, потом повертела в руках указку и на армянском обратилась к Геворку, которого, видимо, хорошо знала.

Геворк улыбнулся и тут же повернулся ко мне:

— На каком языке будем вести беседу?

— О, может быть, вы знаете и грузинский? — в свою очередь улыбнулся я.

— Нет, я специалист по европейским языкам, — ответила женщина.

— А какими владеете?

— Английским, французским, немецким, немного греческим, могу объясняться на итальянском и испанском.

— Бог ты мой! И где же вы все это изучили?

— Как где? Здесь, в Ереване. Язык изучить нетруд-

¹ Враци — грузин (арм.)

но. Главное — не лениться и систематически работать. Так значит, по-русски?

— Конечно. К сожалению, кроме родного и русского, мы с Геворком других языков не знаем.

Негромким голосом, на безупречном русском языке наш гид повела рассказ. Говорила она довольно быстро, время от времени взмахивая указкой, словно дирижерской палочкой. Текст, вероятно, составленный искусствоведами, она знала наизусть, но подавала его так живо и проникновенно, что создавалось впечатление живого рождения слова. А говорить было о чем!

Увиденное здесь превзошло все мои ожидания. Наверное, не зря после громких слов восхищения задаешь себе один-единственный вопрос: почему строители так редко поднимаются именно до такого исполнительского уровня работ? Чего не хватает? Талантов или разрешающих обстоятельств, без которых, ой, как трудно добиться путного результата?! Ну, талантов, положим, хватает. Армения тому яркий пример. Я узнал и внес в записную книжку фамилии тех людей, которым обязано своим рождением архитектурное чудо Еревана. Вот они: архитекторы Акопян, Тарханян, Погосян, Хачикян, Мушегян и конструкторы Азизян и Цагурян.

Среди материалов, использованных при возведении здания, туф, естественно, местного происхождения. Ну, а добрая слава армянских мастеров-строителей говорит сама за себя. Все они — арматурщики и монтажники, каменотесы и плотники, электрики и паркетчики — работали на ударной стройке с небывалым подъемом. По эскизам проектировщиков различного дорогостоящее оборудование изготовили промышленные фирмы Японии, Финляндии, Франции, Бельгии, Чехословакии и Венгрии.

Комплекс состоит из двух залов с великолепной акустикой — концертного и спортивного, предназначенных для проведения соответствующих мероприятий, оснащенных современными техническими средствами. Вместе оба зала вмещают шесть тысяч зрителей.

В отличие от других зрелищных учреждений, которые мне посчастливилось видеть в разных странах Европы, это удивительное сооружение имеет одно редкостное новшество. Ни с чем подобным ранее я никогда не встречался. Два зала комплекса разобщены подвижным сектором; в случае необходимости достаточно провер-

нуть его вокруг своей оси и число посадочных мест в одном зале увеличится, в другом, соответственно уменьшится. Этот умный и до гениального простой способ варьирования пространством помогает выйти из положения при самых непредвиденных обстоятельствах. Достаточно нажать кнопку... — и зал пополнится лишней тысячей благодарных болельщиков, меломанов или же участников торжественного форума.

Я уверен, что армянские архитекторы еще во время ночных бдений над проектом комплекса задались по-хорошему честолюбивой целью продемонстрировать всем свои творческие возможности. И надо сказать, это им удалось в полной мере!

Несколько слов о центральной арене спортивной части комплекса. За считанные минуты, будто по мановению волшебной палочки, из места жарких баскетбольных баталий она превращается в ледяной каток — и вот уже фигуристы вычерчивают на нем замысловатые вензеля.

Интерьер здания поистине великолепен. Благородной сдержанностью веет от гранита и мрамора, золотым блеском отливают бесчисленные канделябры, дивный паркетный покров навевает воспоминания о Версальском дворце. Как не вспомнишь здесь добрым словом людей, которым поручена всечасная забота об уюте в этом огромном здании! Да, да, не удивляйтесь, я о тех самых малозаметных работниках «службы чистоты»! Ведь в конечном итоге степень уважения людей определяется не размерами их дела, а вкладом, который они в это дело вносят.

— Ваш прекрасный рассказ достойнейшим образом перекликается с увиденным, — сказал я на прощание нашему гиду. — Спасибо, — ответила она, слегка покраснев. — Приходите еще. Сегодня вечером, например, интересный эстрадный концерт.

— Соберись в этом зале лучшие эстрадные оркестры мира, они не произведут на меня большего впечатления, чем то, которое я уношу сейчас с собой!

Продолжение следует

Перевод Вадима КОЛЕНЧЕНКО

САЯТ-НОВА

К 275-летию
со дня рождения



...Поэт величественный, многообразный, уютчevesки чуткий и страстный, как Мюссе: один из тех первоклассных поэтов, которые силой своего гения уже перестают быть достоянием отдельного народа, но становятся любимцами всего человечества.

Валерий БРЮСОВ

* * *

Слиток золота в пламени—в песне моей прекрасна ты!
От полудня и полночи — не от красок прекрасна ты!
Хлебом родимым вскормлена — оттого и прекрасна ты!
Сладостной грудью вспоена — сладостна и
прекрасна ты!

Выйди — ждет тебя природа, словно войско —
полководца.
Улыбнись — жемчужные четки так перебирает солнце.
Розы, ирисы, тюльпаны — замерло все, не шелохнется.
Сердцем ты повелеваешь — сладостна и прекрасна ты!

Ты — Вселенная моя. Нет тебя — земля другая!
О мой сад, мой белый цвет, о сирени гроздь тугая!
Задохнется твой соловей, от тебя изнемогая!
Ангел сновидений моих, сладостна и прекрасна ты!

Нард, гвоздику и мускат — вы богаты, наши гости,—
Перламутр, вишневый лак и узоры слоновой кости,
Мех, парчу и каламкар — слава вам! — вы ей
приносите.
Пери жизнедарительница—сладостна и прекрасна ты!

Подойди, спроси, о чем твой Саят-Нова рыдает?
Как забытая звезда, гаснет он и пропадает.
На рассвете этот мир сладостный он покидает...
О луна пятнадцати дней, сладостна и прекрасна ты!



* * *

Непонятная кручина
Бедный разум помрачила.
Поскользнулся — дурачина! —
Все хохочут — есть причина.
На кого вину свалю?
Да на голову свою!

Чудо — был я миру явлен
И обласкан и прославлен,
Будто в золото оправлен.
Кем Саят-Нова ограблен?
На кого вину свалю?
Да на голову свою.

В ласке царской, в лести княжьей,
Средь цветов и дев и пажей,
Жил в шелках — оделся сажей...
Дело это пахнет кражей.
На кого вину свалю?
Да на голову свою.

Но медведь не станет лисом,
А ячмень не станет рисом.
Как пришел ты — посмотри сам —
К черным дням и черным ризам!
Каменная, как тюрьма,
Тишина — сойти с ума!..

* * *

Дружбе верь — не верь навету. Я все тот же. Но
сейчас
Я опять убит любовью — господи, в который раз?
Кто она? В ней сердце — камень, даже, может быть,
алмаз.
Алый каламкар мне нужен, нужен голубой атлас.

Пальцам стройным и точеным — ах, какие нужны
перстни!
У достойнейших амкари не найти таких — хоть тресни!
Вновь по тонкому канату правды и любовной лестии
Я скольжу — струна тугая со струной перевилась.

Стан прелестный тополиный будто нитью перехвачен.
Твой приход на эту землю ангелами был означен,
Но язык, тебя достойный, нами, бедными, утрачен,
Слова молвить не умею, умолкает бедный саз.

Голубеет ночь мучений, небо розово и ало.
Мрак в саду, а в спальне темной золотится покрывало.
Кипарис, как перст господень, пред окном — и все
пропало!

Захлебнулся я слезами—может быть, в последний раз.

* * *

За невинным человеком
Кто следит — ему не стыдно?
Род твой добрый — сам ты подлый —
Предку больно и обидно.

Слизни ползают — следят.
Клевета во рту — как яд.
Тень от злого человека —
Злая тень: земле обидно.

Ты мертвец — одна беда,
Что здоров ты хоть куда —
Как верблюд — я так сказал бы,
Да животному обидно.

Дуб не плющ, бокал не плошка,
Надо понимать немножко...
Береги зеницу ока,
Чтобы стало очевидно:

Вот кора, а вот корица.
Ока твоего зеница —
Я — Саят-Нова. А если
Ты глухой, то мне обидно.

Надоели попугаи — дай послушать соловья!
 Роза сновидений сладких, нежная и сонная!
 С гор сошел я — стало душно, давка, толчея.
 Лица пестрые... Где роза, роза моя?

Караван-сарай, звуки саза и баяты.
 Что мне золотой ковчег, жемчуга, гранаты?
 Что мне все твои подобья — мне нужна одна ты!
 Ранняя роса дороже скатного шитья.

Зверь за деревом стоит или тень лесная?
 Мраморная белизна что таит — не знаю.
 У тебя жених — но я знать его не знаю.
 Я прочел твою записку — отвечает песнь моя.

Кто я? Пленник или раб? Нищий бога ради?
 Не кради — свое возьми и не будь в накладе —
 Не краду я — чту завет мудрого Саади,
 На груди твоей желаю оправдаться я!

Роза, я Саят-Нова, обуянный песней.
 Я свободой трижды сыт: сладкой, горькой, пресной.
 Где же клетка? Жить хочу в золотой и тесной!
 Роза, миндаля хочу, несравненная моя!

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА



Счастли́вый день

— Какой ты в жизни помнишь самый-самый
Счастли́вый день? А? Если не секрет...

Один из них охвачен черной рамой,
Другой был ночью.
Третий был иль нет,
Наверно не скажу, но помню день я,
Небесный день,
Прозрачный, будто сновиденье,
В котором смерть моя спасла людей...
Его затмила суета и гонка.

— Кого ты любишь — до конца?

Вопрос ребенка

Или мудреца.

Об этом я всегда молчу,
Но это чувство, как свечу,
Я берегу и теплою.

Люблю родную мою землю

И в глубь родной моей земли

Уйду, — ее исконной частью,

И смерть на родине подобна счастью —

Спросите тех, кто от нее вдали.

Боль

Итак, я опоздал. Ушла она.

Я опоздал. У моего окна

Отвесно, как тюремная стена,

Нерассветающая ночь стояла,

Что мир недавний надвое разъяла.

Ушла. Я знал: ее не надо звать,

И я не звал. Но боль ко мне явилась:

Сперва — как мука,

А потом — как милость...

Мне предстояло это узнавать.

Болело все.

Живая боль в меня



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ

Тигрицею вцепилась! Я метался
Вдоль стен кромешных —
По квадрату дня...
И жив — для продолженья мук — остался.
Потом боль стала уходить...
Нет, нет!
Не уходи, живая, сделай милость!
Любви замена и любимой след...
Ты здесь — я жив,
И ты со мной сроднилась.
Потом...
Потом мне стало трудно с ней,
И как-то скучно даже... А позднее
Я тяготиться стал — родною болью...
Увы, не объясню и не пойму,
Но кто-то сам идет в свою тюрьму,
А кто-то вырывается на волю.

Счастье

Заманчиво перед тобой
Оно трепещет и маячит,
А чуть накрыл его рукой —
Легко выскальзывает, скачет.
Летает светлячок, как хочет,
Пока судьба твоя хохочет,
Пока ты плачешь над собой.
И камни плачут в час зари,
И славные богатыри
В туманной глубине столетий
Рыдали, как рыдают дети —
Самозабвенно, от души...
Так льются слезы Алазани...
Стыдятся чувства лишь ханжи,
Ты им не верь, и со слезами —
Они не предадут! — дружи.
А от судьбы не жди поблажек.
Ей весело... И где же он,
Тот отблеск приткий, тот миражик?
Весь помрачился небосклон.
Ты станешь другом темноты.
Она-то уж тебя не выдаст...
Не видно счастья. Что же ты?
А что? Не разводить же сырость,

Оплакивая без конца
То, что, мелькнув, ушло навеки...
Глядь — на дворе апрель! И ветви
В саду при-под-ни-ма-ются:
Цветенья к небу их влечет —
Но их плоды опустят долу...
О жизнь! Все знать наперечет
И проходить все ту же школу —
Мне это счастье суждено,
А в повторениях оно
Накапливается... В окно
Счастливым возгласом ворвется,
В дверь постучится, назовется
По имени... Ах, как давно
Лишь со слезами, с болью, с ночью,
Несчастный, ты дружил! Воочью
Окрестный мир сходил с основ!
Ах, как давно ты был готов —
Ты помнишь? — к мертвому покою...
Ах, как давно —
Подать рукою!

* * *

Как из далекой дали, как с горы
Я вижу из моей седой поры,
Из ледяного ветреного дня
Все то, что остается без меня.
Я понимаю: эти облака
Обозначают времени течение.
Да, я успел — уже издалека —
Послать вам благодарность и прощенье!
Благославляю всех, благодарю
И тех, кто этого не ожидает.
Уже смеркается и холодает.
Ни словом никого не укорю.
Окончена усобица сердец —
Прости же мне и ты — мою предвзятость —
Тебе я все простил и наконец
Вкушаю примиренья сладость...

Лишь тобой

И тогда,
Когда я изнурен был вседневной заботой,
И когда

Уходил от забот незаметною горной тропой,
И когда был с друзьями,
И когда лишь с одною судьбой, —
Мир всегда был подернут
Золотистой знакомой дремотой —



Это значит,
Что был я с тобой.

И когда
Необъятный простор у окошка вагонного
Обнимал меня и кружил,
Колдовал и пьянил,

И когда
Те метели и впрямь закружили меня, занесенного
В ледяные края,—

Я с тобой был,
А третья — беда,

А когда
Я увидел опять мои милые горы и доли,
В горле

озером
слезы

Стали —
не одолеть немоты! —

Повторял я, как эхо, лишь речи родимой глаголы,
А моими слезами

Были очи твои залиты.

Было, было...

Когда я доверился лицемеру

И попал в западню и когда потерял я себя,—

Это ты

Возвратила мне правду и веру,

Ты была посильней Силована —

Так нежна,

Так слаба...

И когда...

Замирает душа —

Доживу я до Судного Часа,

Отпущу твою руку, которую крепко держу.

Я скажу,

Что тобою был жив

И что умер — от счастья —

Это я и скажу.

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА



ЧЕРНЫЙ ГОГИ И БЕЛЫЙ ГЕОРГИЙ

РАССКАЗ

В ДЕНЬ Святого Георгия в селе Антоки Сагареджойского района в крепкой зажиточной семье крестьянина Пируза Мекокишвили родился седьмой по счету ребенок. В честь святого нарекли его Георгием, о другом имени не могло быть и речи. Что же касается весьма распространенного во всей Восточной Грузии прозвища «Черный Гоги», то оно как бы само пристало к мальчишке, загоревшему до черноты под жаркими лучами кахетинского солнца... Пристало, конечно же, много позже, но — навсегда.

Гоги, правда, с малых лет был смуглым и крепким, как дикий кабаненок, но лет до двенадцати все же ничем особенно не отличался от своих сверстников. Они все были смуглыми и крепкими и, когда носились с гиканьем из одного конца села в другой, трудно было распознать, где в этой галдящей, орущей, весело скалящей белые зубы ораве Гоги, а где, скажем, Давид или Гурам... Но потом, годам к тринадцати, Гоги окреп еще более, раздался в плечах и груди и стал походить на буковый пень. К тому же остался он низкорослым, а кожа его еще больше потемнела. Потому в темные южные ночи Гоги превращался поистине в настоящего невидимку, до смерти пугая внезапным появлением своих, а тем паче чужих.

— Чтоб тебя сразило копые Святого Георгия!.. Откуда ты взялся? Ишь, черный, как сатана, вылезший из камина! — честила его старушка Эва, еле пришедшая в себя от испуга после неожиданного приветствия Черного Гоги, повстречавшегося с нею в темном деревенском проулке.

В ответ Гоги добродушно улыбался, ослепительно блестя крупными, крепкими, белыми, как клавиши рояля, зубами.

— Чтоб я похоронила тебя и твоего кабана-отца в придачу!.. Чего шляешься по ночам, паразит проклятый?! Чтоб ты сдох и вся твоя родня заодно! — не унималась старушка.

Эва, одинокая, в три погибели согнутая старушка, была известна по всему селу своим злобным нравом и беспощадным, горьким языком. За это ей и было дано соответствующее прозвище — Вонючка. Эва-Вонючка неутомимо проклинала всех и вся с утра и до ночи. Она, видимо, только тем и жила, и лиши ее кто-нибудь такой возможности, она, думается, тотчас бы переселилась «в мир иной». Даже певчий дрозд не избегал ее проклятий, если осмеливался выводить свои трели поблизости от запущенной Эвиной усадьбы... Но все село знало, что ее проклятия не имели, к счастью, никакой силы, а потому... Пусть, мол, собака лает, а караван все равно будет идти своей дорогой — село смеялось себе, пело и пило во всю глотку и жило, как обычно, богато и вольготно.

Не страдал от Эвиных проклятий и наш Черный Гоги. Рос он обычным сельским пареньком. Любил тайком забираться в Коругский заповедник, вспугивая там фазанов и наслаждаясь неопишуемой красотой взлетающих самцов. Любил проводить дни на реке Йори, и часовой путь туда ничего ему не стоил. Там, на каменистом берегу, с утра до вечера жарилась на солнце деревенская детвора, и Гоги, как и все, барахтался на мелководье, как и все, голыми руками ловил под камнями пескарей и, как и все, сочно сквернословил... С малых лет любил Гоги борьбу, и с тех пор, как исполнилось ему двенадцать, вряд ли кто сумел бы положить его на лопатки не только среди сверстников, но и среди парней постарше. Но потом у Гоги почему-то сразу остыло сердце к борьбе и победам, в борцовский круг входил он редко, и то, когда его впахивали туда силой... Входил неохотно, набычившись и упираясь, но неминуемо выходил из круга победителем.

На окраине села, на холме, поросшем травой, сияла ослепительной белизной и радовала глаз, резко выделяясь на темно-зеленом фоне векового дубняка, кро-

хотная, как игрушка, однефная базилика. Называлась она церковью Белого Георгия. И не потому, что была тщательно побелена известью, — название ее было связано с одним из древнейших грузинских религиозных культов.

После жарких каменистых берегов Иори церковь Белого Георгия была самым любимым местом сборища сельских мальчишек. Собирались они здесь обычно по вечерам, усталые от купаний и чрезмерного баловства, брели, рассаживались на надгробных камнях древних могил, беспорядочно разбросанных вокруг церквушки и, преисполненные невольно охватывающим их волнением перед неведомой, но властной силой старины, отдавались грезам и мечтаниям... То были мечтания юности, наивные, откровенные и, увы, редко сбывающиеся.

Почему-то шепотом высказывал каждый свои сокровенные желания, почему-то волнуясь, бережно выслушивали эту исповедь все остальные... Тихий и нежный вечер окутывал их и тоже, казалось, вглядывался в будущее...

Случалось, неожиданно завязывался спор, страсти разгорались, но никто и никогда здесь не сквернословил, даже в мыслях не допускал этого. Напротив, маленькими их сердцами овладевала нежность, и, внутренне очищенные, возвращались они после в село, пропитанное запахом вечернего дыма, свежее испеченного хлеба, закутанное в бурку густо-лиловых, быстро темнеющих сумерек.

Черный Гоги был единственный из всей этой мальчишеской компании, на кого благодать и сила Белого Георгия никак не действовали. Мечты его и здесь шли своим чередом, по привычному руслу. Не желая выделяться, он воздерживался и не доверял своих мыслей даже своему языку. Сидя молча на прохладном надгробном камне, и сам, как камень, немой и невидимый в густых сумерках, Гоги лишь украдкой посмеивался, выслушивая взволнованные исповеди своих сверстников. «Ну, не ослы ли, не пустозвоны ли?! Трещат о своих никчемных желаниях... Вот если бы мне довелось загадывать, уж я бы знал, что пожелать!..» — так или примерно так думал он, но спроси кто-нибудь: «Чего же

ты хочешь, Гоги?», он вряд ли сумел бы ответить ясно и определенно.

Чего бы он все же пожелал, что захотел бы?

Да вот ... все!

Как это — все?

А очень просто!

Именно — «все»! То есть, все то, что сразу принесло бы ему и громкое имя, и все блага на этом свете!.. Именно на «этом», потому как на «том» Гоги никому и ни в чем не завидовал!

Что подразумевалось под словом «все», Гоги в то время было не совсем-то ясно, и еще немало иорской воды утекло, пока это абстрактное и обширное понятие не приобрело для него вполне конкретное и точное значение... Но об этом — чуть позже.

В некий положенный день и в жизни Гоги настала прекрасная и хмельная пора, когда взгляд парня непроизвольно и властно притягивают девичьи лица. Гоги, казалось бы, не должен был быть исключением, однако и здесь он повел себя весьма своеобразно и странно — вместо того, чтоб влюбиться, он захотел сесть за баранку, да так страстно и непреодолимо, что даже длинные зимние ночи проводил без сна.

«Хочу стать шофером!» — объявил он наконец своим родителям и с тех пор упрямо стоял на своем, «оседлал мула», как говорится в таких случаях в Грузии.

— Думаешь, быть шофером — забава? — бушевал взбешенный упрямством сына старый Пируза и изо всей силы бухал по столешнице могучим своим кулаком. — Набит двойками, как колхозный амбар зерном, дай бог нам всегда урожайный год!.. Кто же тебе, олух необразованный, баранку-то доверит?! Четыре класса не можешь одолеть, осел!.. Пойми: твое дело — мотыга и серп! От солнца в жатву ты уж не пострадаешь, и так черен! И нагибаться тебе, поверь, особо не придется!..

Эх, напрасно кипел и бушевал Пируза, напрасно дрожал и содрогался весь дом от тяжелых ударов его кулака по столу, напрасно заставлял он горько и тихо плакать бедную свою жену Маро!

Гоги не отступал от своего слова... Сказал — и как отрезал! И что бы вы думали? Вскоре и впрямь добился своего.

Сперва он стал учеником или же помощником —

так величали эту почетную должность сельские мальчишки — шестипалого Ладуа, шофера колхозного самосвала, и целые дни проводил бок о бок с ним под машиной, бывшей в ту пору как раз в капитальном ремонте. Затем, как только самосвал был приведен в порядок, Гоги стал ходить за Ладуа, словно тень, где Ладуа — там и Гоги... То он заливал воду в радиатор, то доливал в двигатель масло, то, пыхтя — весь усердие! — демонстрировал спустившую, вялую покрывку...

Измазанный с ног до головы тавотом и маслом, Гоги с деловым видом ходил по селу, ходил гордо, не догадываясь, что из-за смуглой его кожи вся эта профессиональная водительская грязь, этот знак посвящения, была видна только ему самому и никому больше... Гоги был счастлив.

Шестипалый Ладуа, конечно, только радовался этой словно с неба свалившейся на него помощи и скоро уже доверял Гоги баранку, особенно тогда, когда выезжали они в поле собирать силос.

Тащиться в жару черепашьям шагом рядом с комбайном Ладуа ненавидел больше всего на свете... Поэтому, не дожидаясь просьб Гоги, с легким сердцем и тайной радостью уступал он ему свое место у баранки, а сам, завалившись в жидкую тень акаций, незамедлительно начинал храпеть, да так, что назойливая мошкара моментально улетучивалась с того места...

Для Гоги наступал настоящий праздник, его звездный час... Ничего в эти минуты для него не существовало: ни надоедливого гула комбайна, ни дикой жары, ни мух, ни комаров... Ползла машина по бескрайнему, млеющему под жарким солнцем полю, ползла рядом приземистая густая ее тень, а вольное воображение Гоги рисовало себе тем временем самые разнообразные дорожные — его! — приключения.

Вот он вихрем мчится по широкой трассе, и инспектор властно поднимает руку, требуя немедленно остановиться, собираясь неумолимо и строго наказать его за превышение скорости, но ... не тут-то было! В ответ бывалый Гоги вытаскивает такой новенький, хрустящий, красненький «документ» — у него их в карманах навалом! — что все пути для него вновь оказываются открытыми...

Вот перед сельским магазином садится к нему в

кабину попутчица — девушка, цветущая, как клубника, прелестная, как майское деревенское утро... Она садится, локоток ее с двумя нежными ямочками совсем рядом с локтем Гоги, и от этого волнующего соседства он чуть было не съезжает в кювет, заросший травой и густым кустарником. А хорошо бы было!..

Да, но село-то предполагало, что Гоги и глазом не поведет в сторону девушек!..

Так значит, ошибочное было это предположение! Повел бы, еще как бы повел! Неправы были те, кто считали Гоги то ли святым, то ли чокнутым, у которого одна баранка да карбюратор на уме!.. Просто другие не умели скрывать своих чувств, Гоги же, наоборот, все хранил глубоко в сердце, и никто не смог бы заставить его проговориться. Потому заблуждалось, ох, как заблуждалось село, считая Гоги женоненавистником, олухом бесчувственным, не глядящим в сторону девчонок!

Да что там село... Глубоко заблуждался и сам отец Гоги, Пируза Мекокишвили. Бедный, как бы он спокойно уснул, если бы смог заглянуть в сердце своего сына! Хоть тогда он убедился бы наконец, что природа и на сей раз, как обычно, добилась своего и разбудила в сердце этого упрямого, хотя и смиренного парня, так же, как и в сердцах других его сверстников, тягу к цветущим, как клубника, девушкам.

Все это так... Но Гоги не был бы самим собой, если голосу сердца не предпочел бы голос разума. Сначала дело, а потом уж охи да вздохи! — любил он говорить сам себе еще там, на могильных камнях Белого Георгия, слушая наивные и, честное слово, смехотворные исповеди влюбленных сверстников.

Вот так и случилось, что Гоги с самого начала крепко-накрепко вцепился сильными своими лапищами в баранку своей судьбы и с избранного однажды пути никуда не сворачивал, не считая того единственного и престранного случая, о котором пойдет речь...

В восемнадцать лет Гоги успешно окончил шестимесячные водительские курсы в городе Тбилиси, и хотя теория давалась ему — тут старый Пируза оказался прав! — с большим трудом, зато в практической части дела он оказался на такой высоте, резко выделяясь среди остальных, что даже строгие экзаменаторы закрыли глаза на слабое знание им теории. Хотя, коли уж гово-

рить всю правду, то сделали они это не совсем бескорыстно, немаловажную роль в этом деле сыграл и огромный, набитый деревянными дарами деловский хурджин.


Так или иначе, но в один прекрасный день Гоги небрежно опустил в карман новенькое удостоверение водителя третьего класса.

С того дня и с той самой минуты со смуглого лица Гоги никогда не сходила открытая, довольная улыбка человека, который имеет все, что ему нужно... Хоть и немало трудностей повстречал он на своем жизненном пути и на автотрассах, — эти два понятия поистине значили для Гоги одно и то же — никто и никогда не видел его сникшим.

Год-другой проработал он в колхозе, потом сдал экзамены на водителя второго класса и, как сам говорил, сел за баранку у «геологистов».

Странный это оказался народец — геологи... Все бродили они, вольные души, по лесам и оврагам, по бездорожью, спали в мешках, любили покутить, но нередко приходилось им, сердечным, и голодать. Дорог и вообще людных мест геологи избегали, и чем глуше находили место, тем больше радовались... А водитель-то без трассы что за водитель?! Но говорится ведь: нет худа без добра, и это воистину правильно. Не пропустил Гоги за это время ни один приазовский овраг и ни одну приорскую рошу: довелось побывать ему в таких диких и нетронутых местах, о каких он раньше и понятия не имел и какие ему и во сне не снились; узнал и вкус настоящей, большой охоты и прелесть спортивной рыбалки на крупную рыбу, но иной-то выгоды, существенней, у «геологистов» не нашел, и потому сменил работу еще раз и, как впоследствии выяснилось, уже в последний.

Совершенно случайно — говорят же, перст судьбы! — Гоги набрел как-то в Тбилиси на учреждение, стоящее во главе какого-то с размахом развернутого производства, в делах которого разбираться — не наше с вами дело и забота, а входит это скорее в прямые обязанности совершенно другого, специально для этого существующего учреждения... Если бы все шло так, как следует, и если бы тот, кому следует, покопался, как следует, и именно там, где следует, то в найденном Го-



ги учреждении пришлось бы, наверное, всех, от мала до велика, попересажать... Но почему-то — а может быть, именно поэтому! — никто нигде не копался, и производство это цвело себе и расширялось. Планы им выполнялись и перевыполнялись, переходящее знамя оно получало, среди прочих передовых коллективов название его — черта с два его выговоришь! — в обязательном порядке упоминалось; фасад головного учреждения был богато облицован мрамором, лепниной, бронзой и разноцветной мозаикой... Разбитый перед зданием сквер с клумбами, пальмами и фонтаном производил на прохожих впечатление неизгладимое, напоминая то ли о филиале ботанического сада, то ли о цветном снимке какого-нибудь не нашего, шикарного «тамошнего» курорта...

Как бы оно ни было, но смысленый Гоги, узрев все это великолепие, сразу смекнул, что это и есть то, что ему нужно, и впился в учреждение, словно клещ.

Новенькая восьмицилиндровая трехместная машина, доставшаяся Гоги, подобно водительским правам, не одной лишь божьей милостью, в случае надобности могла запросто объехать не то что шестую часть света, но и весь земной шар. Даже врага и завистника порадовал бы вид этого гиганта, а уж что творилось с Гоги, обладателем чуда, легко себе представить. Целую неделю он не вылезал из кабины, опробывая машину и так и этак, чувствуя себя воистину не на земле, а на седьмом небе. А когда чуть поостыл и опустил на грешную землю, то, как человек сметливый и практичный, первым делом нарастил и без того огромный кузов, увеличив его вместимость до размеров почти невероятных... Только после этого стал он подумывать и о соответствующем грузе, хотя, владея таким чудом техники, ему не пришлось особенно себя утруждать. Первый же клиент и груз появились, можно сказать, сами собой: десять тонн подсолнуха нужно было перевезти ни много ни мало на тысячу километров, и гонорар водителя исчислялся соответственно в цифрах весьма и весьма внушительных.

Первый же рейс прошел на редкость удачно и превзошел все ожидания. За ним последовал второй, затем третий, и очень скоро Гоги потерял счет приятным и бесполезным для себя перемещениям в прос-

транстве то по горным серпантинам, то по прямым, как стрела, гудящим от скорости автострадам... Не стало для Гоги ни зимы, ни лета. «Сезон есть сезон, но внесезонное дельце имеет резон!» — любил говаривать Гоги в кругу близких людей.

Где только ни побывал наш герой: на бескрайних заснеженных просторах России и Украины, в широких полупустынях Азербайджана, на извилистых скальных дорогах Дагестана, Северного Кавказа и в других самых разнообразных и недалеких, по мерке Гоги, местах и уголках.

Не брезговал он никаким грузом. Часто и не знал, что же находилось в крепко забитых ящиках или в надежно зашитых мешках. Главным для него было общее количество груза и километраж пробега, об остальном он никогда не расспрашивал клиента и не желал слышать никаких подробностей. Это редкое и удобное качество быстро создало Гоги лестную репутацию среди «деловых» людей, и они облепили его, как мухи каплю меда.

С самого начала Гоги работал всегда один — даже в труднейшие рейсы не брал с собой напарника, надеясь лишь на себя, на свое бычье здоровье. Пока что ему на редкость везло: двадцать лет за баранкой — и ни одной аварии, ни царапинки, и само дело ни разу серьезно не пострадало. Мелкие неприятности, конечно, случались — у кого их не бывает, но про них и вспоминать-то не стоило.

Как и какими путями ухитрялся не больно-то образованный Гоги одолевать трудности и барьеры, никто не знал. Ведь всякие лишние разговоры Гоги ненавидел с детства, и если кто-то дивился, как это ты раскатываешь по всей России, зная только грузинский язык, — он молча скалил в ответ белые зубы, в кругу же близких отвечал, не мудрствуя лукаво, так:

— Язык? А для чего он мне? Вот мой язык! — и показывал кучу десятирублевков, небрежно вытащенных из кармана.

Давно у Гоги появилась эта привычка: в какой бы карман он ни полез за платком, куревом или еще чем-нибудь, непременно оттуда как бы невзначай сыпались деньги, причем — все крупные купюры. Транжирой Го-

ги не был, но тратил деньги с толком, со вкусом и охотой, но одалживал их.

Вино любил, но много не пил и раньше, а баранка и вовсе его от этого дела отлучила. Даже когда возвращался из благополучного рейса домой на короткое время и кто-нибудь приглашал его выпить стаканчик-другой, что в Кахетии, этом винном крае, вовсе не редкость, Гоги не противился, соглашался, но выпивал буквально стаканчик-другой, не больше. Но делался все же более или менее разговорчивым.

— Русский язык, говоришь? А нашему Ушанги он сильно пригодился? Уж он-то его знал, как никто! — говорил Гоги и хохотал от всей души.

Про Ушанги, надо сказать, вспоминал он неспроста...

Ушанги — сын ближайших соседей Гоги, на три года младше его, учась в школе, отличался удивительным прилежанием, особенно по русской литературе и грамматике, что, конечно же, похвально, но был он известен еще и своей скупостью. По примеру Гоги, и он вдруг забросил учебу, сел за баранку и также попробовал попытать судьбу в дальних рейсах. Но не повезло ему. Да и как могло повезти, скажите на милость, если, коли верить слухам, из-за каких-то несчастных двадцати штук пятидесятирублевых купюр, расстаться с которыми по доброй воле он никак не смог, совсем простое, пустяковое дельце обернулось для него в уголовное, и сел он в тюрьму. Это случилось в самом начале его шоферской деятельности, и с тех пор Ушанги так и сидел...

Из тюрьмы Ушанги прислал Гоги нательный крест, с удивительным мастерством сделанный из мякоти простого черного хлеба. Из него, говорят, обитатели долгосрочных казенных квартир лепят для развлечения домино... Вот из такого-то хлебного домино и был сделан этот крест, который Гоги носил на груди. Для него он был не столько символом веры, сколько чем-то вроде амулета; в бога он не особенно-то верил, а вот в домино играл всегда с большим азартом и удовольствием.

Несмотря на довольно-таки внушительный размер, этот черный крест не так уж легко можно было заметить на смуглой волосатой груди Гоги, и тем более странно, как это его сразу разглядел подсевший однаж-

ды в кабину Гоги возле Сагареджо какой-то немолодой, явно близорукий мужчина с нечесаной пегой бородой.

Незнакомец, возвращающийся из Давид-Гареджского монастыря, представился «археологом» или там еще кем-то, поди разбери, но на самом деле здорово смахивал на попа-расстригу, сменившего рясу на вылинявшую модную ковбойку. И как только узрел он крест-домино на груди Гоги, запыхтел от возмущения и начал, и начал!.. Это, говорит, большой грех и великое кощунство, все равно как перекреститься, господи, помилуй, левой рукой!..

Много еще перечислил этот странный человек совершенно незначительных и невинных, на первый взгляд, мелочей, которые — кто бы мог подумать? — тоже, оказывается, надо понимать как грех и кощунство.

Поди знай, например, что раз уж ты родился, то тем самым уже совершил грех!.. С того самого дня, как Ева соблазнила бедного Адама и заставила его вкушать запретный плод, несчастное человечество все старается искупить этот первородный грех, все тшится, но никак не может, и даже наоборот — все прибавляет к тому старому греху новые и новые, потом раскаивается, снова грешит — и так без конца и без просвета... Куда же еще, мол, идти дальше за примером, продолжал странный попутчик, когда один такой грешок налицо; вот он висит у Гоги на шее, висит-покачивается!..

Слушал Гоги, слушал этого непрошеного проповедника, вставшего постепенно в поистине обличительный экстаз, терпел, и все же до конца не вытерпел. Нет, ничего плохого он не сделал, не подумайте, хотя и мог бы, конечно; просто лишь по своему обыкновению широко, от всей души улыбнулся и сказал:

— Вот что я тебе отвечаю, святой отец! Похож ты на человека неглупого и даже ученого, охота же тебе битый час языком молоть, глупые байки мне рассказывать?!

Как раз в это время они к Тбилиси и подъехали. Гоги и оглянуться не успел, как спутник его исчез, словно и не было его, и спор между ними так и не состоялся. Хотя Гоги спорить и не собирался, делать ему, что ли, больше нечего!.. Ведь и предмет той неожиданной

беседы, как и саму ее, Гоги считал пустозвонством и глупой, не подобающей мужчине болтовней...

Единственной страстью, которой Гоги, как мы уже говорили, всегда охотно отдавался, была игра в домино. Для других развлечений он не находил времени, но и не жалел об этом. Ну а домино — это уж совсем другое дело!

В промежутках между рейсами, а также в конце каждого месяца, выпадали у Гоги два-три, а то и больше, свободных денька, которые можно было провести за игрой с постоянными партнерами. Горячие завязывались бои в одной из комнат вышеупомянутого учреждения, откуда, несмотря на обитые толстым дерматином двери, с утра до вечера доносился стук костяшек по столу и вслед азартные возгласы заядлых игроков. Гоги был, пожалуй, самым горячим из них, но он легко и спокойно, как и все остальное, скрывал и это. Если другие при проигрыше ахали, охали, то Гоги всю игру проводил с неизменной улыбкой на устах и, заметим, частенько выигрывал... А если все же и проигрывал, то виду не подавал, огорчения не выказывал, а с той же безмятежной улыбкой лез к себе в карман, небрежно доставал скомканные бумажки, отбирал сколько надо и платил без сожаления. Да и сколько, спрашивается, мог он проиграть или выиграть в злосчастное домино, чтобы эта сумма еказалось бы на его толстом кармане и на всегда ровном настроении?

Каждая новая схватка наполняла Гоги горячей, острой радостью и, что важнее, новыми надеждами. Как и у всех заядлых игроков, у него тоже были свои маленькие игровые хитрости и привычки. Любил он, например, когда соперник заходил дублем двоек, а у самого-то на руках оказывалось «два-один». Незамедлительно приставлял он тогда эту кость с щегольским стуком, приговаривая: «Для начала лучше не придумаешь!»—и отсчитывал на счетах отращенным на мизинце ногтем первые свои пять очков... Особо любил комбинацию с дублем шесть на одном конце и с «четыре-пусто» — на другом. В таких случаях Гоги тихонько приставлял к этой четверке дубль четыре и с преогромным удовольствием откладывал себе на счетах теперь уж целых двадцать очков. И была, надо сказать, еще одна игровая ситуация, к которой он был весьма не-

равнодушен. Как только на столе из костяшек домино выстраивался случайно симметричный крест, что бывает в игре не так уж редко, Гоги обязательно целовал свой самодельный хлебный крест, крестился и говорил: «Слава тебе, господи!»... Произносил он эти слова, конечно, в силу привычки, не более, поскольку сам-то господь был от Гоги гораздо дальше, чем конечный пункт его будущего очередного рейса... Потому, если кто-то и обращал внимание на эту его привычку и лез к нему в душу, выпрашивая, вправду ли, мол, верит он в бога, Гоги всегда отвечал, улыбаясь:

— Вот мой бог! — и доставал из кармана деньги и сыпал их горкой на стол без счета, как осенние опавшие листья.

Так шло время, и так проходила жизнь нашего героя... Все испытал он понемногу, и жизнь терла его и мяла точно так же, как всех остальных. Потерял он двоих старших братьев, похоронил отца, дожившего до ста лет, женился, и жена родила ему троих смугленьких мальчиков-погодков...

Ничто не изменило Черного Гоги ни внутренне, ни внешне. Лишь черные как смоль волосы чуть посеребрились на висках, да фигура еще больше погрузнела. В остальном же он остался таким, как и прежде. Постоянная спокойная улыбка цвела на его лице, и носился он, как ветер, по дорогам на своем нестареющем великане, за которым ухаживал все так же любовно и тщательно, как за малым ребенком. По-прежнему ничто, никакие трудности не пугали Гоги, и судьба, как и раньше, была к нему благосклонна. Не было для Гоги непроходимых дорог и безвыходных положений, не существовало ни времени года, ни времени суток, все трудности кочевого шоферского быта переносил он легко и быстро приспособливался ко всему новому. Сердце его по-прежнему было полно надежды, карманы — деньгами, а голова — приятными, веселыми думами...

Так, должно быть, текла бы жизнь нашего героя, не случись с ним одно, на первый взгляд, незначительное дорожное происшествие.

«Дорожное происшествие? Эка невидаль! Да мало ли их у водителей, и чем они могут кого-то удивить?..» — так может сказать любой, и будет неправ.

Даже хорошо знакомая, вдоль и поперек изъезженная дорога, и та может преподнести водителю сюрприз, любой шофер знает эту прописную истину. Знал ее и Гоги. Знал твердо, поскольку знание это приобрел не на шоферских курсах в обмен на родительский хурджин, а познал собственным и долгим опытом. Неожиданность потому и называется неожиданностью, что сваливается на голову чаще всего, как снег в разгаре лета... сваливается, и ничто не в состоянии защитить тебя от нее.

Так вот, однажды возвращался Черный Гоги в родные места, как и всегда, вполне довольный очередным рейсом...

Темная осенняя ночь тяжело легла на однообразную полупустыню Азербайджана. Луны не было, низкие сплошные облака заволокли все небо. Холодный ветер завывал свою тоскливую песню, врываясь сквозь щели ветрового стекла... Позади остались Дальний Восток и Средняя Азия. Разноцветная пыль и песок всех дорог, которые исколесил Гоги на этот раз, застряли в его отросшей за время рейса бороде. Он не был грязнулей, но где прикажете найти в долгой утомительной дороге время и место для купания? Вот на Иори он, как и в детстве, с удовольствием искупался бы, но где же то детство и где та река?..

Хотя до Иори оставалось в общем-то не так уж много, а точнее — почти ничего. До старого горбатого моста — всего каких-нибудь двести километров, дальше — еще окола ста, а все вместе взятое для Гоги с его машиной — пустяк. Право, пустяк. Вот он и терпел.

Дорога была, как струна.

Яркий свет мощных фар рассеивал темень. Ни встречных машин, ни людей. Одинокий в этом пустом ночном пространстве, Гоги гнал, как по небу, своего сказочного верного коня. Ровная уверенность в своих силах и скорость машины радовала его сердце, по-прежнему бился на его груди надежный талисман — крест-домино.

Все так же протяжно ныл ветер, щемящим его звукам вторил двигатель глухим и равномерным своим гулом; змеиное шуршание покрышек по зеркалу шоссе вкрадчиво вплетало свой голос в эту главную и единственную для Гоги песню—песню дороги... Да и что

могло быть для него важнее этой песни, для Черного Гоги, «рыцаря дальних дорог»?! Все было в ней, все в нее вмещалось без остатка.

До горбатого моста оставалось уж меньше двухсот километров. Дорога все так же тянулась на запад, потом начала сворачивать чуть-чуть на север.

Многоопытный глаз Гоги еще издали заметил на шоссе пока неясное беловато-туманное пятно. Правая нога вмиг напряглась, переместилась с акселератора на тормоз, и машина плавно и равномерно начала снижать скорость. Чем более приближалась она к странному, как бы растворяющемуся в темноте ночи светлomu пятну, тем большее изумление охватывало Гоги, и все сильнее напрягалось его тело. Нога изо всей силы жала тормозную педаль, и в голове Гоги вдруг мелькнула дикая, шальная мысль: «А вдруг это... как е... летающая тарелка?! Ну и дела!», и в тот же миг машина остановилась как вкопанная...

Расплывчатое белое пятно вдруг сфокусировалось, разом приобретая четкие, резкие очертания — перед Гоги на черном пустынном шоссе стояла маленькая белая церковка...

Гоги сидел ошеломленный, не в силах поверить собственным глазам, немало повидавшим на его шоферском веку...

Прямо посреди дороги стояла перед ним церковь Белого Георгия! Если не та самая, из дальнего и почти забытого детства, то уж, по крайней мере, ее двойник, это уж точно, просто копия той, что украшала окраину родного села Антоки.

Церковь стояла на черном шоссе, молочно светясь на фоне низкого тревожного неба, и девственная прозрачная ее белизна казалась не от мира сего.

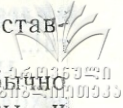
Как она могла очутиться тут?!

Хотя Гоги и был неучем, но столько-то он все же понимал, что грузинской православной церкви стоять на этой испокон веков мусульманской земле никак не положено! И значит — не могло ее быть тут!

Но она была! Была!..

Долго сидел Гоги неподвижно, вперив свой взор в то, чего никак не могло быть, а было... Потом... Потом он проснулся.

Машина с заснувшим за баранкой водителем сто-



яла в пустынном поле, свернув с шоссе и чудом оставшись буквально в двух шагах от края оврага...

Овраг был сухим и глубоким, как и бывает обычно в этом безводном и пустынном крае. Обрывисты и страшны были его исполосованные глубокими ранами склоны. Прокати машина Гоги еще чуть-чуть, и гибель была бы неминуемой.

Холодный пот выступил на лбу у Гоги, озноб пробежал по спине. Он быстро огляделся вокруг — Белый Георгий исчез бесследно...

Будто ничего и не случилось, привычно включил Гоги зажигание, не спеша перевел рычаг скоростей в заднюю позицию и осторожно, как хрустальную, двинул прочь от опасного места.

Через пару минут был он на трассе, снова ровно и мощно гудел двигатель, снова бежала под колеса бесконечная лента шоссе...

Черный Гоги камнем сидел в кабине, крепко держал баранку и время от времени задумчиво касался черного креста-домино на своей груди.

Непривычные мысли роились в бедной его голове... Впервые он задумался над тем, что, оказывается, никогда еще, ни разу не оглядывался на прошлое свое, не бросил туда взгляда... Настоящее тоже не было для него предметом особых размышлений — над чем там было думать? Лишь о будущем имел он более или менее ясное представление: вес очередного груза, длина предстоящего пути, выручка, наконец... Все это он знал всегда заранее. И — все? Да, все!

Он смотрел сейчас, чудом избежав верной гибели, на свой жизненный путь, смотрел и ничего, почти ничего в нем находил.

Баранка и ... дорога.

Груз и... дорога.

Деньги и... снова дорога.

Да, но куда же шла она, такая вроде бы ясная, такая простая и прямая?! К кому вела и для чего?! Где ее конец, который молчаливо и спокойно ждет Гоги?! Неужели конец этот — в одном из таких вот сухих и глубоких оврагов, которого Гоги на сей раз чудом и благополучно избежал? Запоздавший скрип тормозов, грохот и лязг, исковерканное, ставшее непослушным

железо, рняющее, убивающее все в себе и на своем пути!..

Что же, наконец, мог означать этот благополучный исход, это его невероятное спасение?

Почему именно Белый Георгий спас его? Почему он, а не что-то иное? Ведь избежать смерти можно было и по-другому?..

Крест-домино мерно покачивался на груди у Гоги. «Деньги — вот мой бог!»... Хм...

Вереница внезапно налетевших назойливых и упрямых вопросов до самого города сопровождала Гоги, сверлила мозг, и ни на один из них не смог он найти никакого ответа.

Да и как его найдешь? Как решишь вдруг и разом то, над чем никогда раньше не задумывался?

...И наш герой продолжал свою жизнь, как встарь. Ничего в нем, казалось, не изменилось. Одно лишь обстоятельство нужно все же отметить. После той памятной ночи никто и никогда не видел более на его груди болтающийся крест, а во время игры в домино — ее-то он по-прежнему любил — если на столе выстраивался крест, Черный Гоги вдруг затихал, глаза его, казалось, силились увидеть что-то далекое и непостижимое.

Перевод Игоря ШТОКМАНА

Рассказы

ВОДА

— **В**ОТ, ты говоришь, отчего он хотя бы в старости не угомонился, отчего не смог в шкуре своей усидеть. А все от того, что был он не шкурником, а крестьянином.

Для тебя что крестьянин, что не крестьянин — едино все, не болит уже, поди, пуповина, что к земле привязывала, да и не болела она никогда, потому как не было у тебя пуповины той, в городском дворе вырос ты, а не на подворье крестьянском, и будили да к делу тебя призывали не петухи первые, а часы дребезжащие, и пот меж лопаток не от работы крестьянской непомерной тек, а от того, что мяч по улицам с дружками гонял без продыху.

Не в укор я то тебе говорю, каждый ведь жизнью своей живет, да вот дед твой крестьянином был и им же остался, а ты не серчай, не по злобе я это, ни то, ни се, ни в городе крестьянин, ни в деревне городской, а ведь любишь, небось, когда дед багажник машины твоей до краев набивает, ешь на здоровье, пей на радость да не забывай, чьего ты роду-племени.

Что же до Иосебы, был он крестьянин и плотью, и кровью своей, крестьянином на земле жил, подобно дедкам да прадедам своим, крестьянином и погиб, воду для деревни добывая. А вода, скажу я тебе, всему начало и конец тоже, есть вода — живет да родит земля, а нет ее — нет ничего.

Что с водой в Мартвиси нашем нынче дается —

ума не приложу. Четыре ущелья, реки несущие, деревню нашу искони обмывали да обнимали. Иално реки те наполнила да насыщала снегами талыми. Гомборские туманы дождями их поили-напитывали, деревья да кустарники прибрежные кладовыми для рек тех были — влагу удерживали да хранили, чтобы не иссякли реки ненароком, не иссохли.

Норовистыми и буйными реки те по весне становились, ни защитников своих не щадили — с корнями вырывали, бывало, в щепу разбивали, о скалы крушили, да и крестьянские уголья не дюже жаловали — под руку горячую что ни попадет — все сглатывали — и дома, и амбары, и скотину, лелеянную, уносили за тридевять земель, ищи потом, свищи.

Тяжко да горько бывало и деревьям, и людям, да что тут поделаешь, не убивать же за буйство-то реку, тут умом да осмотрительностью брать надо, оберечься в годину лихую, обождать до времен лучших.

Река по весне на мужика во хмелю смахивает — вроде тих да смирен, а как зальет глаза, что с цепи срывается, зашибет почем зря, станешь с таким вязаться — добра не жди, а наберешься терпения да разума, глянь, и утихомирится, самому за себя давешнего стыдно.

Так и река — поколобродит, поярится да в русло свое возвернется, как ни в чем не бывало — и вновь крутит жернова мельничные (поверишь, шестнадцать мельниц перемалывали зерно в Мартвиси нашем, и всем силу реки те, на ручьи разведенные, давали), поливает виноградники знатные, зрелость да спелость им дарует, поит скотину, что травы досыта нажевалась да соли до горечи нализалась. А без воды ни земле, ни животине, ни человеку, куда ни кинь, жизни нет; вот и смекай теперь, что для нас реки те значили.

Где они нынче, куда подевались, за что разгневались, на кого нас, горемычных, бросили, поди, доведайся: одни русла высохшие, валунами забитые и остались, зови — не дозовешься, нет воды, и все тут.

Спросить меня, мы, мартвисцы, сами в том и повинны, а все потому, что первейшие заповеди крестьянские вчистую забыли, да и где теперь крестьяне-то, скажи на милость, днем с огнем не сыскать, ты, что ли, крестьянин или братья твои, да и отец твой земле своей

не муж, а полюбовник приходящий, поковыряется в земле, что спичкой в зубах, потехи ради больше, нежели по делу, да и был таков.

Все теперь в городе ногой одной стоят, а другую в воздухе держат — не знают, то ли на асфальт ее опустить, то ли на землю дедовскую, бурьяном поросшую. Дачниками, словом одним, заделались, толку от того, что тут живут, чуть: утром на работу поехали, ночью вернулись — поспать на воздухе деревенском чистом, от таких шерсти не настрижешь — сам, гляди, оплешивеешь. Днем одним, вишь, жить стали — день да ночь — сутки прочь, вот и ладно.

Крестьянин, тот на полжизни вперед заглядывал: орех посадит — приплоду полтора десятка годов, считай, дожидается, виноградник заложит, опять ждет, а то, не приведи господи, еще градом посечет — по новой заложит и, туда же, терпения напасается. А вам что — утром семя в землю бросили, ввечеру за урожаем навевдываетесь, дождетесь, как же, держите карман пошире.

Все вам в момент один подавай, а нет, так нет. С того и деревья в ущелья вчистую свели, как же, холодно, небось, не в лес же, в далечень такую за валежником на «Жигулях» ездить, когда вон они дрова, тут же под носом, руби — не хочу, руки согрели, вот и хорошо, а там, глядишь, машина баллонов газовых привезет... А что деревья те воду хранили — вам до того и дела нет, перебьемся, мол, как-нибудь.

А мусор, что с мусором народ наш вытворяет, за голову схватиться впору: не везти же, мол, в самом деле, мусор тот клятый за пять верст на свалку, да и попробуй в багажники машин ваших игрушечных напихать прорву эдакую, и что же, опять река, река-то на что, унесет, авось, куда-нибудь, с глаз лишь бы долой, а там хоть трава не расти, да и не растет, что ты думаешь, мусором ущелья все забиты, на мусоре живем, мусором дышим, мусором любимся. Вот так-то.

Прискучило, видать, рекам нашим мусор на себе возить, вот и ушли, а мусор в назиданье нам оставили, чтоб не повадно впредь было, да кто назиданье то на ус мотает, живем — не тужим, обойдемся-де как-нибудь, да не обошлось, как видишь.

Теперь вот бросились колодцы копать, раньше, бы-

вало, где чуть глубоко заступом ударишь, вода покажется, а теперь кротом в землю зароешься, роешь-роешь, землю, почитай, всю наверх выкинешь, гору воздвигнешь, а внутри-то воды кот наплакал, да и откуда ей быть, коли реки, уйдя, всю влагу с собой увели.

А вам тут воду сразу вынь да положи, установки буровые привозить наловчились, воткнут в землю — в полдня, глянь, на другой конец шарика нашего вылезут, да вот окромя грязи жидкой ничего не добудут, а коли повезет чудом, на воду выйти удастся — трубу бетонную в скважину загонят, а следом мотор сунут — вот вода и уйдет, как не бывало ее.

Не дураки предки наши были, когда колодец вручную рыли, сторожко так и с глядкой, выйдут, бывало, к воде, благословят родимую, поклонятся ей, камнем белым песчаным стенки колодца выложат — красота, и воду ведром половинным уважительно черпают, пока не привадят, не приручат, а она за то все прибывала, во век не избыть, не вычерпать было. Так вот...

А знаешь ли ты, какую воду ты у нас из крана день-деньской пьешь? Да, да ту самую, что по часу в день по графику струйкой худой выдаивается. Ее еще деды наши по всем окрестным лесам искали и отыскивали-таки, родничок к родничку, ручеек к ручейку подвели, в один колодец слили да по трубам глиняным в деревню нашу привели.

Теперь вот больше воды по пути зазря пропадает, нежели в ведра да во рты наши течет — глина, вестимо, пусть и хорошо обожженная — все не чугуны, да и не железо, хотя и железо ржа съедает. А тут еще и у дренажей сроки все вышли — сплошь повредились-портились, а мы, умники, и в ус себе не дуем, дождемся, небось, что полкружки воды за день не добежит.

В одиночку дела такого не поднять, уже и не вспомнить, когда мы последний раз миром всем собирались, а властям нашим деревенским все недосуг под землю лезть, а копать в ней и вовсе охоты да резону нет — им бы как побольше пыли в глаза начальству большому напустить, подавай, что на солнце блестит да глаза слепит, а водопровод, он что, он под землей, его на выставку не вытащишь...

А все оттого, что на стульях начальственных все больше временные люди сидят, и стулья те непрочные,

о двух ножках, попробуй-ка усиди на них долго, вот и подпирают, кто чем горазд. Скажу — не поверишь, аж цельных четыре председателя сельсовета залетеньких за семь годков у нас тут попорхало, смехота одна, а нам, мартвисцам, не до смеху вроде...

Первый, тот, как пришел, с ног сбился, не надорвался едва, идолищ разных по деревне всей понатыкав. И ты, небось, видел бабищу ту громадную с носом облупленным да с дитем на руках, с меня ростом, что на околице при дороге стоит, «Материнство», кажись, называется или еще как-то так. Да вот столько он на нее цементу да арматуры ухлопал — не счесть, на пяток годков вперед весь фонд деревенский, не меньше того.

Как сунулись мы в райсовет детсад с яслями выбирать, кукиш нам там и показали, был, говорят, цемент да вышел весь на ту самую бабу вашу, что у въезда в деревню ошивается, раньше, говорят, думать надо было, — словно нас кто про то спрашивал. Вот и ходят по день сей бабы наши с дитями малыми на руках, да двое еще за подол цепляются, а куда тут денешься — детсад-то та бабища с задом каменным на корню слопала...

Да то не все еще. Над воротами птицефермы деревенской он курицу с выводком цыплячьим из чугуна отлил — пудов восемьдесят весу чистого в ней будет, ей-богу, коли на машину хлопнется ненароком, пятно одно и останется бензиновое. Да собери ты всех кур на ферме с петухами да цыплятами в придачу, ни за что все вместе на столько не потянут...

А теленок тот, что возле комплекса животноводческого хвост чугунный задрал да голову глупую пригнул, боднуть норовя! И чему только радуется, дуралей эдакий, ума не приложу, а тому, видать, что, как ни верти, один он на весь комплекс наш, как есть один, да и коров там не дюже густо, помене, нежели телятниц да коровниц.

Не оттого ли и навоза грузовик по временам нынешним грузовика с золотом червонным стоит, а ведь раньше не знали, как от навоза того избавиться — бери, не хочу, вот и мается теперь земля наша по подворьям неунавоженная, соки все, почитай, из себя тянет, горемычная, чтоб урожай хоть какой да выносить, а тут тебе еще и безводье чертово, одно к одному. И еще, поди,

дивятся, что люд наш деревенский на горбу овощ раз-
ный да хлеб на пропитание из города тащит ^{это в}
деревню-то...

Зато голову нашего сельсоветского в газетах всех
с теленком тем чугунным в обнимку изображали, да что
в газетах, в телевизоре его аж три раза показывали под
курицей с цыплятами, а еще рядком с бабищей придо-
рожной — за ногу ее каменную держится, это, чтоб не
убегла, верно. Культуру, говорил, новую на селе несет,
крестьянам мартвисским, темноте кромешной, мозги про-
светляет, жизнь украшает...

Теперь болван тот чугунный — это народ наш его
так прозвал — в районе большим человеком заделался,
культурой всей верховодит, по всему району, видать,
стада коровьи да выводки цыплячьи развел, чугун весь,
что завод металлургический Руставский дает, на дело то
пустил да цемент с арматурой туда же...

Второй, что на смену болвану пришел, историком
был, и впрямь много разных историй он знал да нам, ду-
ракам, рассказывал, заслушаешься, работу впору бро-
сать. Селение ваше, говорил, знаменитое в свете целом,
да вот я, дескать, славы ему прибавлю пуще прежнего,
весь мир про Мартвиса ваш говорить станет, на карте
отыскивать да к нам ездить. А мы что, мы и рады, вот,
думаем, человека бог нам послал, вот думаем, кто за
дело возьмется.

И вправду весь взялся да как взялся — курганы,
что на Дзелахо — три их там было — копать-раскапы-
вать принялся и, что ты думаешь, аж два бульдозера
пригнал — а мы-то, мы их, почитай, три года в районе
выпросить не могли. Понавез народу тьму-тьмушую, все
больше дружков своих, это, говорит, экспедиция архео-
логическая, ну, знаешь, то штука такая, когда мужики
здоровенные полдня в земле ковыряются, а потом три
дня кряду кутят да песни под гитару поют.

Ораве такой, вестимо, жить ведь надобно где-то,
вот наш историк и поставил под жильё ей дома четы-
ре щитовых вокруг курганов тех. Да что дома — доро-
гу широченную для машин — видимо-невидимо их тут
шныряло в ту пору — проложил, весь, почитай, гравий
да щебень, что на проселки наши колдобистые назна-
чен был, на нее, чертову, бухнул.

Ну, думаем, историк наш, по всему видать, воду

искать собрался, в добрый час, коли благо великое для деревни сделать сподобился, ведь старики наши сказывали, что были тут ключи студеные во время стародавнее да вот подевались куда-то.

На дело такое жизни не пожалеешь, не то, что добра, да не жалели мы, день-деньской воду да питье к курганам тем возили, досыта экспедицию кормили-поили, от домочадцев своих отрывали, ее ублажали, да не впрок, видать...

А бульдозеры, между тем, папахи с курганов посрезали, экспедиция та, знай себе, все лопаточками махонькими да щеточками орудует, всех поди школьников наших на подмогу призвала, что тут скажешь, надо, так надо, копнут разок да щеточками вокруг да около водят, землю расчищают.

Весны три да лета два цельных копали да чистили, чистили да копали, а всего-то навсего два черепа бычьих да еще черепков глиняных без счета и накопили. Зачем добро такое искать да откапывать было — невдомек нам, а историк нам тут и говорит, что наука без древностей этих прожить не может никак. Мы что, мы науку уважаем, всяко ведь бывает, может, ей и впрямь без черепков этих ни в какую не обойтись, да нам-то на что дребедень эдакая?

А тут еще старики наши припомнили, что когда, дескать, мартвисцы новобранцев на войну японскую проводжали, на Дзелахо весь народ деревенский собрался, двух быков зарезали, а вина-то, вина, припас годовой весь, почитай, выпили да чаш глиняных без счету побили, чтоб, значит, счастье да удача новобранцам на бранном поле сопутствовали, с той поры, знать, черепа да черепки те в земле и лежат...

Рассерчал тут председатель наш, страсть, аж искры из глаз посыпались, дурачье, кричит, вы темное, ничего дальше носа своего не видите, и предки ваши не лучше были, да к тому же вор на воре, все курганы вчистую разграбили, да добро несчетное, что в них истари погребено было, по домам своим поганым растащили. А ведь тут человек доисторический по расчетам моим проживал да добро наживал, да в курганах навечно упокоился.

Про то, какой человек тут доисторический проживал да добро наживал, нам неизвестно, а то, что предки наши

с незапамятных времен на Дзелахо жили да чужого со своим не путали, кого ни спросишь, всякий знает, окромя историка нашего да дружков его чертовых.

Засыпали бульдозеры курганы те по новой, землю разровняли, вот пашня знатная и получилась. Ну, думаем, и то прибыль, от паршивой овцы хоть шерсти клок деревне перепадет, небось, землицы-то пахотной у нас с воробьиный нос.

Да не тут-то было, рано, выходит, радовались мы. Председатель пашню ту забором отгородить велел высоким, половину добрую леса Автандарианского на доски заборные свел, а землицу ту на куса четыре здоровенных нарезал да дружкам своим под подворья к домам тем щитовым и отдал.

Что тут долго говорить, дачки вышли будь здоров, живи только да радуйся — и тебе дорога прямоезжая, и тебе заборы, птице не перелететь, и тебе землица распаханная, чем не огороды, все, одним словом, чин чинарем. Да вот нам, мартвисцам, радости от того мало. Сам-то упорхнул черепоискатель наш, только его и видели, а дачников нам на шею посадил. С той поры и дачуют те кукушкины дети на Дзелахо нашем, как будто нам дачников своих не хватало. А мы как сидели без пашни да без водицы, так сидеть и остались...

Что потом, спрашиваешь, было? Свято место, вестимо, пусто не бывает. Нового председателя нам прислали, строитель-де, деревню отстроит так, не узнать будет.

И что ты думаешь, отстроил, да еще как, и впрямь не узнать: все ограды да заборы, что на главную улицу мартвисскую выходили, в два дня порушил и заместо них новые возвел, один к одному, словно одной матери дети, все речные валуны, что в руслах рек наших иссохших без дела валялись, в работу пошли с кирпичом да блоками вместе, ничего не скажешь, красиво.

Оградостроитель председатель наш оказался отменный, так его и прозвали «оградостроитель», ибо на большее его не хватило, да и как было хватить, когда весь кирпич да блоки, на больницу мартвисскую отпущенные, он в ограды вложил, все до единого. Так и красуются ограды те над проселком нашим вдрызг разбитым, а не тепло нам от них, скорей знобко, пришлым глаза режет, а нам колет.

Что тут поделаешь, коли раз не повезло, на другой не надейся, а на третий тем более. Недолго походил председатель тот по главной той улице мартвисской, долго и на дело рук своих любовался, в город его забрали, в городе-то, приметь, главных улиц побольше нашего будет, вот и взяли его, ограды, верно, выкладывать, чтоб покрасивее было, не нам одним ведь красотой такой любоваться. Ушел, одним словом, оградостроитель наш, как пришел, оставил нас с оградами теми, хоть глаза на них тарашь, хоть головой об них бейся.

Сидим да ждем не дождемся, когда новый на голову нашу явится. Долго на сей раз дожидаться пришлось, месяца три, скажу я тебе, не меньше. Пришел, наконец, а тут как раз схода деревенского время приспело. Председатель райсовета так его нахваливал, что мы уши и поразвесили, чем, думаем, черт не шутит, а вдруг все правда. Знаешь ты, что такое гидроинженер, мы вот не знали, да просветили нас, это, де, водных дел мастер, ну как нам тут не возрадоваться было, как не прослезиться, вишь, дождались-таки человека, что деревне нашей силу прежнюю вернет, крестьянское наше дело возродит, землю омертвевшую оживит.

Не все, правда, так думали, да и не мудро, на молоке обжегшись, на воду дуешь, вот и дули, щекам лопнуть впору. Так то или иначе, и те и другие на одном сошлись — время покажет, кто прав, а кто нет. Тут уж недолго ждать пришлось — не успел сход наш отшуметь, утихомириться, глянь, председатель новый все так раскрутил — не угнаться. Видать, изголодался изрядно, бумажки справа налево в конторе перекладывая. Поначалу мы все никак в толк взять не могли, что он замыслил, а как раскусили, поздно уже было назад поворачивать.

Однажды утром смотрим — караван целый машин по деревне идет, а на них панели громадные из железобетона, по две на каждой. По всей деревне пыль столбом взбили, в ущелье Алихеви вверх по течению реки двинулись.

А надо сказать тебе, хотя ты и сам, верно, про то знаешь, что из четырех рек мартвисских одна Алихеви только и оставалась к тому времени, хоть и слабая, а течет. Раньше без броду и думать нечего было с берега на берег ее перебраться, а в пору, как председатель тот

дело свое черное затеял, утки в ней едва лапки замачивали да худо-бедно, да все вода.

Ты про то, знать, по дедовским рассказам лишь и помнишь, а я сам при том был, когда коллективизация началась. В Мартвиси нашем сразу четыре колхоза и сложилось, все верно — сколько рек, столько и колхозов.

Туго поначалу дело шло — люди в колхоз-то вступили, а все не по воле своей, а больше из страха, как бы вслед за кулаками в ссылку не загреметь, ведь тех, что раскулачили и кулаками-то язык не повернулся бы назвать: семьи-то у нас в пору ту большие были, не чета нынешним.

Вот меня возьми, братьев нас шестеро было да сестер четыре — вот посчитай-ка теперь, рук крестьянских на дом сколько приходилось, и все, приметь, работающие, с малых лет к труду приученные, да и трудились от зари до сумерек не за страх, а за совесть. Не дюже много наживали, а вот голодных да холодных в деревне нашей не водилось, кто позажиточней жил, кто победней, богатеев было раз два и обчелся, да и те, заметь, в поте лица трудились, работников наемных да пришлых не держали...

Так вот, я об колхозах тебе говорил, четыре их было, и у каждого по реке — пашни немного, правда, зато пастбищ поболее. С того и овец да скотины много держали. А как умерли реки, и колхозы те захирели — в военную годину один только и остался, да и тот на обе ноги хромал.

Совхоз наш нынешний от колхоза того идет, вроде бы покрепче стал, да вот народ, как в землю верить перестал, городу руки свои отдал — сердце только за деревню и держится, да что сердце — оно лишь любить да щемить умеет, работы от него не жди. Так и дошли до жизни такой, что в деревне крестьянина днем с огнем не сыщешь, отметки одни остались. А тут еще те птахи залетные да перелетные...

Машины, значит, до истоков Алихеви и дошли, а как дошли, панели те железобетонные на землю стряхнули, так и усеяли ими берег весь алихевский с верховьев донизу. Это председатель наш, Гидра который, Алихеви нашу хилую в бетон заковать надумал, а она, горемычная, и забыть забыла, когда в последний раз буянила в половодье вешнее. Может статья, и непрочь бы-

да она побуянить, да нечем вроде, разве что из ниточки в веревку вспухнет, да вновь в ниточку рвущуюся обратится.

И что за блажь такая на Гидру нашего нашла, в толк не возьму, и набережную, говорит, справим да всей деревней по ней гулять будем. А нас-то, нас спросил он, до гульбы ли нам, когда последние виноградники на корню обуглились да скотина в кровь языки стирала, влагу иссыхающую по корням вылизывая?

Да то, что построил набережную на берегу сухом — полбеда, хуже, что исток напрочь забил, воду замуровал да от русла вековечного, привычного отучил-отвадил. Воде что, она свое возьмет, дорогу новую обрящет и поминай как звали, а нам-то, нам каково последней опоры да надежды лишиться!

Вот тут терпению мартвисцев и пришел конец, дали Гидре тому по шапке да из деревни взашей вытолкали, а председателем своего мартвисского выбрали. Районное начальство, глянь, и смирилось, поняли, небось, дров сколько наломали, да поздно. Свой хотя бы в лес не смотрит, ему в деревне жить да жить, детей растить да в землю деревенскую ложиться на покой вечный, вот и старается добро сеять и жать.

Тяжко, небось, по следу чужому идти, по топтаному и порченному сеять, но куда деваться, можешь, не можешь, а иди перепахивай, перелопачивай. И люди наши от спячки оправились, встряхнулись — ведь под лежач камень и вода не течет, а без воды, как сказано, и жизнь не в жизнь. Вот и бросились все воду ту искать да приваживать.

Потерять — ума не надо, а найти — ума не напаешься. Перво-наперво воду для питья отлаживать принялись — и то верно, коли сам не напьешься, и скотину с землей не напоишь — дренажи новые прорыли, колодец общинный, куда вся вода сбегается, почистили да заново выложили, да вот с трубами, правда, туго, пока вот старые латаем, а там, глядишь, и очередь наша на трубы обещанные в районе подоспеет...

А Иосебе нашему ждать недосуг, да и как было руки сложа сидеть, коли виноградник его на глазах чахнет. Виноградник был у него, я тебе скажу, всем виноградникам виноградник. Отучивались мы виноградники выхаживать, позабыли секреты дедовские, по ветру дело

их рук пустили, да и не мудро. На виноградник всего себя положить надо, к осени, бывало, ни с чем останешься — то град побьет, то сушь навалится, то хворь лозу одолеет, тут еще с водой беда, так и предали мы лозу нашу мартвисскую...

Как Иосеба виноградник на ногах удержал, по сей день ума не приложу — ведь был он разбит на берегу высоком Алихеви нашей — к солнцу поближе, от паводков подальше, да поди попробуй поливать его, это только в годы последние он воду из речки моторчиком качал, а так все по ведрям на себе, бывало, таскает, сам, значит, заместо мотора.

А как Гидра по дурости дурной воду ту арестовал да в ссылку дальнюю спровадил, Иосеба чуть с ума не съехал, ходит черный, яростный, слова ему не скажи — и в колодце в придачу вода на нет, почитай, сошла — ниже некуда, ведро все бока себе обдирает, по дну ползая да воду по капле собирая. Хоть волосы рви, хоть плачь — все без толку: из слез, вестимо, соли не выпаришь да лозу не польешь.

Отчаянный да бедовый мужик Иосеба наш был, да будет ему светло на свете том, с того в войну из нетей выкарабкался: и тебе контузия, и тебе плен, и тебе побег, и тебе партизанский отряд в Италии, чего ты хмыкаешь, не слыхал, что ли, он да Антона — итальянцы мартвисские, да про то особый сказ, про то, небось, так просто не расскажешь, будет у тебя желание, расскажу как-нибудь...

Да, так о чем я говорил-то, все в сторону меня чего-то оттаскивает, никак до главного не доберусь. Так, значит, прихожу я к Иосебе раз, один он жил, как Этери умерла, а Како, сын его, в городе женат, редкий у нас гость, все больше Иосеба сам к нему ездил. И что, ты думаешь, глаза мои видят? Аж вспомнить страшно, и сейчас, поверишь, мурашки по телу забегали.

Иосеба с лицом бешеным по двору мечется вьюном, в беспамятстве крутится, топор ищет, а топор-то на колоде валяется, перед носом его самым.

Пока я от ворот до Иосебы добежал, увидел он, наконец, топор тот да как схватил, сам я, кричит, и порешу его, мочи нету, мол, на смерть медленную, мученическую глядеть. И к винограднику с топором мчится.

Ну, думаю, контузия старая знать о себе дала, вер-

но, как бы беды не натворил в помрачении таком, и за ним. Догнал у калитки самой, что в виноградник вела, как навалюсь сзади. А он жилистый был да сильный, страсть, ума не приложу, как не зарубил он меня топором тем чертовым. А брыкается, а вырывается, из сил последних его держу, и откуда они, благословенные, у меня взялись, бог весть, от страха, видать, великого.

И удержал ведь, да еще топор из рук выронить принудил. Это он, сердешный, лозу порубить хотел, все едино не жилица она была больше на свете белом, в хворост обратилась от суши да безводицы.

Каково, скажи, на такое решиться, чтобы своими руками дите родимое, пестованное порешить. Обмяк Иосеба, словно сила вся да буйство из него повытекли, и рубаха насквозь от пота промокла, хоть выжимай.

Довел я его до дому, на стул усадил да рядышком пристроился, за руки держу. Отдышался он малость, оклемался вроде, глянь, цвет человеческий лицу его возвратился, а там и глаза выкаченные на место сели да потухли.

Посмотрел он на меня неузнавающе так, а у самого бровь дергается, словно подмигивает кому. Отпустил я руки его, да все настороже держусь, не нашла бы на него блажь по новой. Да нет, ничего, успокоился, шапку войлочную с головы стянул, а голова вся от пота мокрая, и волосы слиплись. И меня, вижу, признал, потому как засовестился, рукой махнул и в улыбке виноватой рот скривил.

— Прости меня, не зашиб ли я тебя нечаянно?

— Да нет, вроде бы цел покамест. Бывает всяко, ты это из головы выбрось, словно и не было ничего.

— Ты не думай, что в помрачении я был, все помню, зря ты мне помешал, в другой раз рука уже не поднимется...

— Ну вот и ладно, что не поднимется, он-то в чем виноват, авось выкарабкается, не мне тебе об этом толковать, сам, небось, не хуже моего знаешь.

— Знать-то знаю, да в чудеса не верю, конченное дело, а по новой начинать невмочь мне больше. И года не те, и не для кого, вроде.

— Отчего по-новой, даст-то бог и этот выдюжит, на твой век жизни и в нем достанет, а там, глядишь, и Ка-

ко в отчие края вернется, не все ведь в городе ему куковать, одумается, может.

— Да коли и возвратится, виноградник ему обузой будет, у кого нынче терпения хватит с ним нянчиться, нам уже и то не под силу, поди, а нынешним молодым тем паче, где им, как мы, лозу обхаживать. Да вот сердце болит на такое глядеть. Не чаял, не гадал я, что виноградник мне прежде себя хоронить придется, да видно, так на роду писано...

— Брось ты отходную ему да себе до срока петь. Да ты ли это, Иосеба, не признаю чего-то, и речи такие тебе не к лицу, не той ты породы, чтобы живьем себя отпевать. Дай срок, и вода у тебя будет, и все заладится вновь, вишь, как дело у нас в Мартвисе повернулось, грех жалиться, кому как не мартвисцу про беду нашу знать-то, и у него, авось, душа не меньше нашего болит.

Говорю, говорю я, сам на Иосебу исподтишка поглядываю, и, чем больше смотрю, тем больше лицо мне его не по душе: чую, что-то воронье в нем, а что, не пойму, чернота какая-то сквозь кожу выдубленную выглянула, да так и осталась. И глаза куда-то поверх дома глядят, словно коршуна в небе высматривают, и в них все та же чернота разлилась, ничего не видеть, окромя нее.

Не по себе мне чего-то сделалось, тревожно да горько. Не след было уходить, оставлять Иосебу с чернотой той с глазу на глаз, да вот бес попутал, кабы знать, вовек бы не ушел. А тут заторопился я, словно кто звал, да и Иосеба меня не удерживал, до ворот меня проводил, руку мне пожал и к дому зашагал, прихрамывая.

Иду я к себе, а думы все над Иосебовым подворьем кружатся, нехорошие, скажу я тебе, думы те были, тяжелые, будто видел я Иосебу в последний раз.

Повернуть бы мне назад, либо самому с ним остаться, либо к себе в гости зазвать, да ноги не слушались, все дальше и дальше уносили от дома Иосебова. Так и ушел.

Не спалось мне ночью той, духота была — не продохнуть, полночи, считай, на завалинке в исподнем просидел, а как предутренний ветерок с Гомбори подул, сон меня сморил легкий да цепкий, что паутина в ви-

нограднике перед ртвели. Ничего я во сне том не видел, а проснулся — сердце щемит, как бывает, когда что-то страшное увидишь.

Оделся нехотя, с утра уже палило немилосердно, хотел было делом заняться, что с вечера на утро оставил — огуречные грядки окучивать — да вот чувствую, душа ни к чему не лежит, махнул рукой и пошел к Иосебе. Подхожу к калитке, толкаю ее по привычке, и, что ты думаешь, заперта она.

А в Мартвиси у нас, как ты, верно, и без меня знаешь, никто ни днем ни ночью ворот не запирает, ни к чему нам, вроде, это, так было, так и теперь еще водится, бог миловал от злых людей. С того я и всполошился, покричал Иосебу, не отзывается, вдоль забора прошел — тишина.

В город, верно, к сыну Како подался, думаю, ну и ладно, так оно, может, и лучше, отойдет маленько, тяжко, небось, с чернотой той с глазу на глаз оставаться. Постоял я, постоял и к себе побрел, муторно чего-то на душе стало, а с чего — невдомек.

Намахался мотыгой, полегчало, день целый не сиделся, старуха моя дозваться не могла, спину заломило, ноги не держат, а все машу. Э-эх, кабы знать...

И на другой день заперты ворота, и на третий тоже. Не отошел, видать, думаю, да пусть, не все же в одиночку ночи коротать, внук Иосебы там как-никак, пусть порадуется, не то и впрямь руки на себя положить в пору, на лозу обугленную гляючи...

А на четвертый день в мертвом ложе Алихеви нашей вода быстрая меж валунов белых побежала, да какая вода, все мальчишки из округи нашей к ней сбежались, друг на дружку брызгают, ногами на воде шлепают, а она, благословенная, поверишь, до щиколотки им уже доходит, ей-богу.

Дивится народ, откуда, дескать, благодать такая на нас снизошла, а вода бежит себе без оглядки, час от часу все больше ее становится, голос уже подает, вокруг камней бурунами завивается, а те, поверишь, шипят, что шкварки на сковородке, потрескивают и шипят, с ней повстречавшись. И такой визг, гам да шум стоит — оглохнуть в пору.

Смотрел, смотрел я на воду ту, и как будто глаза у меня открылись. Иосеба, вот кто воду пустил, как пить

дать. Иосеба. С какой это стати я так подумал — ума не приложу, да вот подумал, и все тут. А как подумал, тотчас к дому Арчила заторопился, он на «колхознике» совхозном шофером ездит. Дома Арчил оказался, обедать, словно по заказу, приехал.

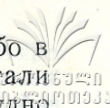
Как сказал я ему про Иосебу, как на сумасшедшего уставился, но к машине за мной все же заспешил. По такой дороге не на машине, на лошади скакать надо, да где ее нынче возьмешь. Гидра тот Алихеви в железобетон-то заковал, да вот набережную сделать не успел.

Скакали мы по камням два часа кряду, скакали, всю душу по пути вытрясли, трижды вода в радиаторе закипала и трижды воду из Алихеви ожившей заливать пришлось. Я уж и не рад был, что Арчила на тряску да скачки те подбил, да куда деваться. За всю дорогу Арчил даже не выругался, ни единым словом укоризненным меня не кольнул, а ведь было за что. Да что зря на человека напраслину возводить, молодцом держался, видать, проняли его мои речи, за живое задели, у самого, видать, сердце не на месте было.

Долго ли коротко, добрались мы в конце концов до верховьев Алихеви — лес там на нет сходит, разбегается в стороны, скалы одни голые, солнце от камней белых стрелами отскакивает, глаза режет, машине дальше ни в какую не проехать, не то всю ее по частям там оставить бы пришлось.

Делать нечего, вылезли мы из духоты адской на пекло чертово, закатали штанины по колено да по воде пошли, а она тут хоть и мелкая, да зато быстрая и холодная — все легче. Скала горбатая над головой нависла, идем пригнувшись, чтоб головой не задеть ненароком, а она все ниже и ниже нас пригибает, спину распрямить не дает. И вода уже по щиколотку, ноги на камнях оскальзываются, ухватиться не за что — ни кустика тебе, ни деревца.

А как кончилась скала, только мы спины разогнули, тут же другие начались — и слева, и справа, друг к дружке клонятся, теснина, словом одним, и река между них несется, с ног своротить норовит, поверишь, боком протискиваться пришлось, иначе не пройти было. А дальше хуже — вконец сошлись те скалы, срослись вроде, и пещерка в них узкая да темная, а из нее вода выталкивается да вниз водопадом срывается.



В пещеру протиснуться — чистая гибель — либо в воде захлебнешься, либо о камни расшибешься. Стали мы и стоим, не зная, что дальше делать. А вода чудно как-то толчками идет, словно мешает ей что-то.

И тут я — впереди я шел — руку увидел, вода ее то поднимает, то вновь опускает, ну, думаю, привиделось, голову-то на солнце напекло — страсть, под шапкой войлочной у меня еще и платок в воде моченый был, а все напекло, видать, думаю.

Посмотри, Арчилу говорю, что там такое виднеется, а сам на карачки опускаюсь, чтоб ему, значит, видней было. Рука, говорит, кажись, там ходуном ходит — говорит, а сам побелел весь, что валун отбеленный. Не привиделось, значит, зря я глазам своим, выходит, не верил.

Хошь не хошь, а пришлось в пещеру ту протискиваться — я лезу, Арчил меня сзади проталкивает. Эх, глазам бы моим того не видать, что я там увидел — Иосеба, камнем придавленный, на спине лежит, одна рука сжимает что-то, а что — не видать, другая плетью висит, и вода через него перекачивается да рукой играет.

А лицо-то, лицо — синим-синее, глаза выкачены — зрачков не видно, рот распахнут в крике, словно и воды полон.

Бились мы с Арчилом, бились, камень поднять норовя, да куда там, ни с места его не сдвинули. Рука Иосебова, оказалось, лом сжимала — ломом-то тем он, видать, бедолага, камень и приподнял — воду из плена выпустил, да не удержал громадину эдакую, как же, удержи ее, попробуй, вот он его и придавил. А тут еще вода хлынула. Коли и жив бы он остался, когда камень на него, горемычного, свалился, так вода его тут же бы и доконала, захлебнулся, видать, ведь она-то прямо в рот ему хлестала...

А все отчего случилось? Как панели те железобетонные, что Гидра чертов доставить сюда приказал, самосвалы сбрасывать стали, камень тот сполз, видать, с места насиженного да воде дорогу и перекрыл. Вот Иосеба и поднял камень ломом-то, а как поднял, сам бог один тому свидетель да скалы безъязыкие...

Что ни говори, а погиб Иосеба, воду для Мартвиси нашего вызволяя, погиб, как мужчине природой велено, — от пули ушел, от войны отбил, а тут погиб...

Как деревня наша его схоронила, не мне тебе ска- зывать, сам, небось, видел, а я тебе вот что скажу — гибелью своей Иосеба и воду для всех добыл и глаза всем мартвисцам, у кого они есть, на жизнь нашу но- нешнюю открыл. Без воды деревне, конечно, не жить, но и кротом, в нору уткнувшись, тоже. Так-то...

А виноградник Иосебов выжил, пойдем, покажу, ко- ли охота. Прежде, чем свой водой той благословенной полить, мартвисцы Иосебов поят, вот и стоит он на зем- ле, как ему и положено. Говорили люди, что Како в дом отцовский перебраться надумал, да я в то не верю. Хо- тя...

ПИГАЛИЦА

— ВОН из моего дома, срамница, чтоб глаза мои тебя не видели, покрутила хвостом, впору ворота дег- тем мазать. Да будь моя воля, я б тебя на осла задом наперед посадила да по деревне пустила, чтоб непода- но было чужих мужиков заманивать. Ох, бесстыжая, ос- лавила меня на весь свет божий, ребенка бы постыди- лась, мало ему безотцовщины, горькому!.. А я, безмоз- глая, в дом тебя пустила, у-у-у-у... Сгинь, изыди, про- пади пропадом, живи в конуре своей собачьей, туда тебе и дорога...

А следом за этим градом проклятий на проселке показался босоногий мальчуган лет шести со сложен- ным вдвое матрацем, одеялом и подушкой на голове. Он придерживал все это добро загорелыми руками и, хлюпая носом, осторожно, вслепую ставил маленькие ступни на палящую землю. Старый лопухий пес трусил рядом, задрав кверху седую морду. Чуть погодя по про- селку загрохотала тележка об одном колесе, в которой подпрыгивали, дребезжали, бились друг о дружку ка- стрюли, сковородки, эмалированные тарелки. Чайник хоботком клевал бульдожьей морду мясорубки, а ножи с вилками и ложками отплясывали в ступке незатейливый танец. Оглобли тележки держала в руках тонкая, нео- жиданно грудастая молодка с растрепанными, чуть тро- нутыми перекистью каштановыми волосами, с недеревен-



ским лицом, с недеревенски стройными ногами в матерчатых, порядком истоптанных шлепанцах. Из крупных, что мартвисские сливы, глаз лились тонкие непрерывные струйки слез, падавшие на землю и прибывавшие желтую пыль, поднимавшуюся из-под хлопающих шлепанцев.

— Опять Тебро разбушевалась, нейметя старой, в третий раз уже, поди, гонит со двора бедняжку. И что лютовать, не пойму, ей-богу, замордовала вконец сердечную, эх, как не говори, а двум бабам под крышей одной, хоть тресни, не ужиться... Откуда у ней только пруть такая берется, ума не приложу, во всем Мартвисси глотки луженней не сыскать да языка длинней, а в самой-то три вершка от силы, и того не наберется, пигалица пигалицей, прости господи... И то правда, несладко на свете ей живется, куда как несладко, так ведь у каждого доля своя, коли бог тебя по неведению обидел, неча за то людей в том неповинных обижать да со свету сживать... А ведь сжила, ей-ей сжила, орет так — перед миром всем в грязь втоптывает. — Уймись ты, — говорю, — она тебя обхаживает, что дочь родная, возитя, что с дитем своим малым, а ты — раз и обваляла в перьях. Ну, мужик у нее завелся, так ведь она вдова соломенная, не век же одной вековать, молодая, красивая, красивше нет бабы в деревне нашей, да и не нашенская она вовсе, пришлая, ни тебе щита, ни опоры, былинка на ветру и та крепче. Жила в сторожке брошенной и жила бы себе. Так ведь сама же Тебро ее в дом свой зазвала, мол, жить вместе станем, хоть словечком с кем перемолвиться будет, и то легче. А то не легче, коли одна Тебро наша, что перст, во все четыре стороны кричи, ни до кого не докричишься. И братья у нее, вроде, в городе есть, и невестки, и племянников куча, да все они знать Тебро не знают, да и знать не желают, стыдятся, верно. А деревня наша поначалу Тебро жалела, да и как не пожалеешь, одуванчик божий, черепаха перед ней, что борзая, до пекарни дойти три дня, почитай, ходу — ножки у бедняжки, что лапки воробьиные — три шажка сделает, три часа отходит. Да вот всех языком своим, словно плетью отхлестала, всех от себя отвадила, за три версты обходят, что чумную. Одна Магда — так зовут ее — терпит от нее все, да и ту,

вишь, взашей погнала. Не зря говорится — хуже врага у человека, нежели сам он себе, нет и не будет...

А Магда все толкала и толкала перед собой тележку под неубывающие проклятия невидимой глазу Тебро. Мальчуган завернул в тупичок, в конце которого стояла заброшенная сторожка. Не снимая с головы поклажу, мальчуган присел на трухлявую ступеньку крохотного крылечка, дожидаясь матери. Напоследок подпрыгнув на колдобине, тележка приткнулась к крыльцу. Магда достала ключ из кармана куцега халатика, боком, чтобы не задеть матрац на голове сына, поднялась на крыльцо и с трудом отомкнула ржавый замок.

— ...А пойдешь, говорит, со мной, всю тебя озолочу, в парче да в шелках ходить будешь, на пандури себе наигрывай и песни пой только. Песни мои послушать отовсюду приходили, голос у меня был громкий да звонкий, слава о нем далеко разлетелась. С того он в деревню нашу и приехал, в город меня сманить. Да не отпустили матушка с братьями. Негоже, мол, девушке из рода Глахо — так прадеда нашего звали — в лилипутском цирке рожи корчить. Никакой то не цирк был вовсе, а театр настоящий самый, и все там мне подстать — маленькие да ладненькие. Ты не смотри, какая я теперь сделалась, поди поживи да поработай с мое, и не такой еще станешь... А высокий он был, что тополь тот, волосы кудрявые, пиджак в клетку, да краешек платка из кармана торчит. Поверишь, три раза за мной приезжал и четвертый бы приехал, кабы братья мои пиджак на нем не порвали да кудри не распрямили. Нет, ты не думай, братья мои теперь знаешь какие, старший большой человек, в машине черной разъезжает, а младшенький профессор по коровьему делу в институте. И невестки ученые, племяши — глаз не оторвать... Зря они меня в город не отпустили, там, сказывают, дорожки на улицах гла-адкие, ходи себе — не хочу, не то, что проселок наш. Только ты про то никому не сказывай, ладно? Засмеют...

Тебро сидела на детском стульчике с перекладиной, но коротенькие ее ножки все едино до земли не доставали. В правой руке она держала гладкую палку раза в два длиннее себя и в равные промежутки времени колотила ею по овечьей шерсти, набросанной на брезент. Белесые шерстинки взлетали на воздух, а Тебро

пропускала палку с налипшей на нее шерстью через кулачок левой руки. Шерсть падала на брезент, и Тебро снова по ней колотила. Так прошерстила она всю шерсть, пока из комковатой да сбитой не сделалась та мягкой и шелковистой — волосок к волоску. Тебро откинула перекладинку со стула, сползла ножками на землю и принялась заталкивать руками шерсть в холщовый мешок — ну и крепкие же у Тебро ручки, крепче во всем Мартвисе, верно, не сыскать...

— ...Некуда мне возвращаться, семь лет — немалый срок. Отца у меня тогда уже не было, а мать два года как умерла с горя. Я перед смертью в больницу к ней приехала с Гочей, а она видеть меня не пожелала. Нет, говорит, у меня дочери, а потому и внука быть не может. Не простила, да и я себя не прощаю. Мода у нас тогда была глупая — из дому убегать, все подружки мои так замуж повыходили, только вот они замужем и остались, а я... Плохо, когда вроде замужем и не любишь, плохо и когда любишь, а не замужем. Одной всегда плохо. Гоча вот у меня есть, хороший мальчик, разве брошу я его когда-нибудь? А у него их целых трое — девочка и два мальчика, дети, как же он их бросит? Не виновата я, что люблю его, не виновата и все тут. Чужой он муж, но мой он, мой...

Магда сидела на ступеньке крыльца, переламывала зеленые стручки лобии и бросала их в кастрюлю. Из сторожки тянуло жаром от керогаза, на котором пыхтел чайник. Лицо Магды в крупных бисеринках пота печально, а глаза устремлены к горбатой горной цепи, на яркой зелени которой белыми камешками разбросаны овцы. Лопоухий старый пес лежал у ног Магды и время от времени поднимал седую морду и подслеповато поглядывал на хозяйку. «Гоча, Гоча, слезь с дерева, слышишь, сейчас же слезь, пока я тебя не побила!» — вдруг встрепенулась Магда и тревожно вскинулась со ступеньки. Гоча сидел верхом на ветке ореха и, затенив ладошкой глаза, смотрел на дом Тебро, крытый пепельной черепицей. Казалось, он не слышал материнской угрозы, а босые его ноги беспечно болтались высоко над землей. Магда между тем начисто вдруг позабыла про сына, словно не она еще мгновение назад звала его. Целые, неразломанные стручки лобии, выпав из ослабевших пальцев Магды, сыпались в кастрюлю.

— ...Ты только маме не говори, ладно? Быстренько, одна нога там — другая здесь, мне хлеб без очереди дают, один ведь всего беру. Я побегу, ладно, не то Тебро сама пойдет, а, знаешь, каково ей ходить? Одна нога там — другая здесь... Не говори, очень прошу, а то она плакать будет и Тебро ругать...

Гоча на цыпочках, словно танцуя, прокрался вдоль забора, осторожно высунул облупленный нос на проселок, на мгновение застыл, наострив круглые уши, потом, как подхваченный ветром, сорвался с места и, сверкая розовыми пятками, помчался к пекарне. А из дома, семеня ножками, вышла Тебро. Пока она коротенькими шажками одолела, наконец, пятиметровый тупичок до проселка прошло минут пятнадцать. Но тут в начале улицы показался Гоча. Он несся во весь опор, глотая горячий воздух широко открытым щербатым ртом. Добежав до тупичка, он резко свернул в него и едва не сбил с ног переваливающуюся на камнях Тебро. Не успела Тебро и глазом моргнуть, как Гоча сунул ей в руки сложенный вдвое лаваш и опрометью бросился к своей сторожке. Тебро растерянно прижала к груди, видимо, все еще горячий лаваш, прислонилась спиной к каменной ограде соседского дома и, качая большой головой в косынке, что-то неслышно зашептала. Гоча, между тем, одним духом взлетел на облюбованную ветку ореха, поудобней устроился на ней и, вытянув шею, а вместе с ней и губы, уставился на Тебро.

— ...Убить его мало, гаденыша эдакого, нет, ты представь, я ему по-дружески подзатыльника дал, а он как впился зубами в руку, до кости прокусил, волчонок, да и только. Ты ведь знаешь, как я его обхаживал, детей родных так не баловал, а он руку прокусил. Недаром говорится, сколько волка не корми..., по отцовским следам пошел, только ты этого не видишь. Посмотрела бы, как он к карлице той, ведьме чертовой льнет, тайком от тебя к ней бегают, вот и бросается на людей ястребом. Отдай ты его в интернат, там его быстренько вразумят, отдай, слышишь, не то, помяни мое слово, добьется он своего, разлучит нас, ведьма та его науськивает, да и сам он меня ненавидит, а за что — ума не приложу. Отдай его в интернат, а сама в город возвращайся, я там тебе квартиру сниму, есть уже на примете, подальше от глаз карлицы проклятой да и дерев-

ни всей. Хочешь, я сам его туда отведу, завуч там мой приятель...

Они сидели в машине — Магда и курчавый широкий копчелый мужчина. Разговаривая, он то и дело потирал прокушенную ладонь, не отводя глаз от Магды. А Магда смотрела прямо перед собой сквозь забрызганное ветровое стекло; за стеклом был мрак, слегка разжиженный с краю светом слабой лампочки, помигивающей над крыльцом сторожки. Потом она вдруг повернула лицо к мужчине и стала смотреть на него так, словно впервые увидела. Мужчина поперхнулся на полуслове, обескураженный непонятым взглядом, опустил глаза и стал изучать следы зубов на ладони. Магда смотрела долго, не смигивая, как бы желая запомнить овечью курчавость его волос, закрывающих уши, низкий лоб, приплюснутый широкий нос и твердые бугристые губы. Затем, неловко припав спиной к дверце, толкнула ее и, не сводя глаз с мужчины, стала задом выбираться из машины. А мужчина все смотрел и смотрел на багровые рубцы, проступавшие на ладони, как контуры на опущенной в проявитель фотопленке.

— ...Никогда он больше сюда не придет, клянусь тобой, слезь, слышишь, я очень тебя прошу, слезь, ничего я тебе не сделаю, клянусь тобой. Не придет он больше, ты мне не веришь, да? Разве я обманывала тебя когда-нибудь? Я не сержусь, клянусь тобой, не сержусь. С этим все кончено, слышишь, он никогда, никогда больше не придет сюда. Мы будем жить вдвоем и никого нам не надо больше, ладно? Ну ответь мне, ответь и слезь, очень прошу тебя, слезь. Я здесь одна, и мне страшно одной, слышишь, страшно. Гоча, Гоча, мы будем вдвоем, только вдвоем. Хочешь, уедем отсюда, насовсем уедем, ты только слезь, и хочешь, уедем, завтра же уедем, и все. Гоча, слышишь, Гоча, слезь, я очень тебя прошу...

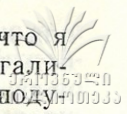
Магда стояла у подножия ореха, прижавшись лбом к шершавому стволу. Руки ее то обхватывали дерево, то снова падали вниз и бессильно свисали вдоль туловища. Вверх она не смотрела, да и посмотри, все едино ничего бы не увидела. Черная туча облепила луну, и Гоча — махонькое пятно, и без того закрытое широкими, терпко пахнущими листьями, вконец растворился во мраке. Гоча не слышал приглушенной мольбы матери.

Он крепко спал, привалясь голой спиной к стволу оре-
ха. Раскинутые в стороны руки по обыкновению цепко
держались за боковые ветки, голова неловко лежала на
левом плече, а босые ноги свисали вниз.

— ...Сделаешь, что я тебя прошу, а? Нет, хлеба
мне не нужно, и в магазин не надо, все у меня есть.
Скажи матери, что я очень прошу ее вернуться, вме-
сте с тобой, и Муру приведи. Я ругаться больше не бу-
ду, язык пусть отсохнет, коли слово худое скажу. Пес-
ни петь станем, помнишь, как тогда, и вместе играть,
только ты меня на шерсть не вали, ладно? Сдаюсь, силь-
ный ты очень. И Муру я уже не боюсь, ей-богу. Хочешь
поглажу его по голове, не боюсь и все тут, ну и что, что
рычит, я тоже рычать умею, но на тебя не буду... И
знаешь что, пусть он приезжает, не мое это дело, зря я
мешалась, совестно аж, ей богу. Пусть себе приезжает,
скажи матери, ладно? Что, что? Не говори так, мал ты
еще такое говорить, мама у тебя хорошая, добрая, не
по злобе я ее ругала, по глупости бабьей, отсохни у ме-
ня язык, коли повторю такое. И ты не говори, ладно?
А теперь иди, не забудь — все скажи...

Тебро с кизиловой палкой в руке сидела на своем
стульчике с перекладинкой. Комковатая шерсть холми-
ками возвышалась на брезенте, Мура носом толкал ее
на траву и глухо рычал. Гоча, понутив голову, стоял
возле Тебро и босой ногой закидывал на брезент кло-
чья шерсти. Потом вдруг резко повернулся и побежал.
Мура с лаем затрусил следом за ним. Тебро отвела па-
лку назад, коротко взмахнула ею и неожиданно выпу-
стила из разжавшейся ладошки. Палка упала на
шерсть, подпрыгнула и снова упала, взбив небольшое
облачко пыли. А Тебро опустила руку на перекладину
стульчика и о чем-то задумалась, зажмутив красные
кроличьи глаза.

— ...Нет, ты погляди только, снова идет, по четвер-
тому, почитай, разу вертается, мала-мала Тебро, а всех
перевесила, да надолго ли. Мальчуган с ней, словно с
подружкой, играет, известное дело — что старый, что ма-
лый. Дай-то бог, коли утихомирится Тебро, а как по но-
вой начнет? Мальчугана жаль, меж огней двух с малых
лет мечется, и там тепло вроде и там, да вот руки об
каждый обжигает, с волдырями бы весь век не прохо-
дить, дите, как-никак, кожица у него, небось, тонкая



да мягкая, не чета нам, дубленным. И знаешь, что я тебе еще скажу, Тебро наша, хоть и пигалица пигалицей, прости, господи, за слово грешное, а коли поду-
 мать, сердце у нее большое, больше, нежели, у верзи-
 лыного, вот ведь какое дело...

По проселку шел Гоча. На голове его лежали вдвое сложенный матрац, одеяло и подушка. Он придерживал все это добро загорелыми руками, губы его были крепко сжаты, а босые ступни твердо ступали по каменистой земле. Старый лопухий Мура трусил за ним по пятам, низко опустив седую морду, словно боялся сбиться со следа хозяина. Чуть погодя по проселку загрохотала тележка об одном колесе, в которой подпрыгивали, дребезжали, терлись друг о дружку кастрюли, сковородки, эмалированные тарелки. Чайник хоботом клевал бульдожьей морду мясорубки, а ножи с вилками и ложками отплясывали в ступке незатейливый танец. Магда, осунувшаяся и подурневшая, тяжело, как бы нехотя, толкала тележку и напряженно смотрела прямо перед собой. Каштановая прядь упала ей на глаза, но она, словно не заметив этого, все брела, судорожно удерживая в руках вырывающиеся оглобли тележки.

ПАСТУХИ

— П ОГОДИ чуток, ладно? Я вот соль разбросаю и мигом обернусь, а ты погуляй тут, не то ирляг на травку, земля сухая...

Лелуа вышел из загона и, прихрамывая, зашагал по тропинке к лужайке. Соль двугорбой вершиной возвышалась по ее краю: Серго—водитель самосвала, по всему видать, был в дурном настроении и вывалил всю соль в одном месте кучей, а не развез ее, как бывало, по лужайке. Лелуа, у которого и без того забот по горло, ругался на чем свет стоит:

— Знал, чертов недоносок, как насолить мне. Это он за то, что я ему барашка в прошлый привоз не зарезал. И не зарезу, не мои, небось. Я этих барашков на горбу собственном таскаю, что детей малых нянчу, а

для него они шашлыки ходячие. И потом, знаешь, терпеть не могу вымогателей. Я никому на свете ничего не должен, а ему тем более. Без году неделя, как работает, а уже хозяина из себя корчит. Покойный Миха почитай двадцать годков соль сюда возил, сначала на арбе о двух быках, а потом на трехтонке бортовой, раздолбанной, не на самосвале, поди, и ничего, выкладывал, как по ниточке, а все оттого, что уважение к труду пастушьему имел, не то что этот сын ишачий. Эх, кабы я тут был, не миновать ему трепки знатной, пусть силой своей перед дружками похваляется, и не таких, поди, обламывать доводилось, отведает он еще кнута моего плетеного... А Чихла, Чихла-то куда смотрел, мерзавец, послал мне бог помощничка, лучше некуда, убыток один, козел-провокаатор, не иначе, доверишься такому — костей потом не соберешь, вороньей сытью станешь. Эх, что тут поделаешь, в пастухи нынче стоящего мужика на аркане не затянешь, вот и приходится с этими горе мыкать... А Антона, какой теперь с него спрос, глух, что твой пень, и такой же трухлявый, а ведь пастух был — каких поискать, легок на ногу, волчья кость, да и только, Ширакские и Кизлярские пастбища из края в край прошел — исходил, и по сей день, верно, из следов его овцы воду пьют, не успело их время смыть, глубоки знать. Да вот прошлым одним жив не будешь и крепче не станешь, зато он в овцах души не чаает...

Овцы грязно-желтым клубком, сыто мекая, шоркали по загону, а коровы, обступив, словно корыто, мелкий пруд и косясь друг на дружку влажными глазами, втягивали в себя воду. Остывшее солнце багрово окрасило вечеряющее небо в легких растрепанных облаках. Посвежело. Я пошел вслед за Лелуа, рискуя вызвать его недовольство — он не любил, когда «чужие» мешались в его дела: лучше сделать самому, нежели переделывать за другими. Но работа была нехитрая, хотя и тяжелая — разбросать по лужайке булыжины соли на равные друг от друга расстояния. Лелуа ухватывал соль обеими руками и без замаха бросал на землю. Я подошел к куче слева, взял первый шершавый пласт и швырнул, что было сил. Острая боль прошила бок, и я невольно ойкнул. Лелуа оглянулся и, увидев, что я потираю бок, ощерился в редкозубой улыбке:

— Ох, и помощнички же у меня, один к одному, с

твоими-то руками только за столом сидеть, вилочку с ножичком держать да по тарелке стучать. Не обижайся, это я к слову. Ишь расшвырялся, потише ты, не то вдвое сложенный ходить будешь, не разогнешься, а руки в кровь сотрешь — слезами обольешься, соль-то едкая...

И тут же легко подхватив огромную синеватую глыбу, коротким сильным броском послал ее метров на шесть. Ударившись о землю, глыба подпрыгнула, перекувырнулась и застыла на месте. Я попытался повторить все движения Лелуа, но соль вырвалась у меня из рук и хлопнулась у самых ног. Боль не повторилась, но появилось ощущение, что в боку туго стянули веревку, и, стоит мне распрямиться, она лопнет.

На крутом склоне горы показалась белая лошадь, на которой, болтая длинными ногами, сидел без седла худощавый мужчина. Прямые волосы взлетали при каждом движении седока и падали на лицо. Мужчина держался одной рукой за холку лошади, другой отбрасывал волосы назад, но те снова валились на глаза. Лошадь подошла поближе и остановилась рядышком с Лелуа. Лелуа, не обращая внимания на нее и всадника, продолжал раскидывать соль. Мужчина, не слезая с лошади, распрямил ноги — и они уперлись ступнями в землю. Лошадь, нагнув голову, принялась щипать траву, а мужчина перекинул ногу через ее пригнутую шею и приставил к другой, уже стоявшей на земле. Долгий шрам рассекал его лоб, веко левого глаза, щеку и упирался в угол твердых прямых губ. Белый бугристый шрам особенно выделялся на щеке, поросшей жесткой щетиной, придавая лицу презрительное выражение. Как я понял, это и был тот самый Чихла, о котором мне говорил Лелуа. Я видел его впервые, потому что в мое предыдущее восхождение на Иално его еще не было и в помине.

— Здравствуй, — не глядя на меня, буркнул Чихла хриплым голосом, подошел прямо к соляной куче и принялся, яростно хакая, метать соль по лужайке. Вдруг он остановился, сплюнул через плечо и одышливо прохрипел: — Уйди, я сам...

Я принял это на свой счет и, не мешкая, отошел в сторонку. Лелуа, повернувшись к Чихле спиной, продолжал делать свое дело.

— Уйди, я сказал, слышишь, уйди, тебе говорят...

Лелуа резко обернулся, стрельнул в Чихлу слезящимися глазами и молча присоединился ко мне. Чихла сплюнул еще раз и нагнулся за солью. Мы с Лелуа пошли к загону, подгоняемые в спину хриплым хаканьем и глухим звуком часто падающей на землю соли. Из дощатой хибары с ведрами в руках вышел Антона, вытянул черепашую шею, поглядел на овец и, переваливаясь на кривых ногах, затрусил к пруду. Лелуа, насупившись, присел на корточки у дровницы под навесом, набрал на согнутую в локте руку рвано расщепленные поленья, тяжело поднялся и зашел в хибару. Я присел на длинную лавку возле крепко сбитого, врытого в землю стола и принялся поочередно разглядывать то Антону, то Чихлу. Антона колдовал возле коров. Полуобняв за шею, он что-то нашептывал им на ухо, а они с достоинством мычали в ответ. Двугорбая гора была уже Чихле по щиколотку, а вся поляна усыпана отливающими синевой холмиками соли. Крепкая, слегка сутулая спина Чихлы, обтянутая черной, выбеленной у подмышек косовороткой, то напрягалась, то вновь опадала, и острые лопатки ходили по ней ходуном.

Из косой трубы над хибаркой повалил негустой синий дым. Он поднимался сначала прямо, столбиком, но потом валился набок, скручивался жгутом и рассеивался в холодеющем полиловевшем воздухе. Нежаркая краснота стояла над посуровевшим западным склоном Иално, растекалась между верхушками деревьев и поджигала их неярким пламенем.

— Ветрено завтра будет... Ты когда вниз собираешься? — Я и не заметил, когда Лелуа успел выйти из хибары. Глаза его слезились пуще прежнего, верно, от дыма.

— С утра пораньше, как развиднеется... Я тут посилю, на воздухе.

— Окоченеешь. Ночи холодные стали, дело к осени идет. С Иално шутки плохи, с нами ложись в хибаре, места всем хватит... Я тебе головку сыра в сумку положу с вечера, утром не увидимся, мне уходить рано...

— Спасибо, не стоит беспокоиться...

— Сыр коровий, молодой еще. А гуду я тебе через пару месяцев сам привезу, дай бог дожить...

— Что-то не нравишься ты мне, Лелуа, и говоришь как-то не так да и не то, вроде...

— Я и сам себе не нравлюсь, просто осточертело мне все, на пенсию, зная, пора, отработался уже, хватит... Четвертый десяток по горам да по долам шляюсь, дети без меня повзростели, глядишь, и внуки мужчинами без меня сделаются, а мне нейдет все... Авось, перебьются как-нибудь...

— Зря говоришь, знаешь ведь, не усидишь без дела...

— А может мне охота пришла на завалинке посидеть, спину разогнуть, в постели теплой в исподнем одном поваляться, не век же под буркой дневать да ночевать, и я, поди, человек, раз пастухом на свете уродился, и помирать в пастухах прикажешь?

— Соль я разбросал, что еще делать, начальник?— Чихла, широко расставив ноги в сапогах, ястребиным взглядом впился в Лелуа. Лицо его было мокрым от пота, прямые волосы космами свисали на уши, рубец на лбу и щеке побагровел и вздулся, словно кто-то только что огрел Чихлу плеткой.

— Никакой я тебе не начальник и приказывать не собираюсь. Сам, небось, знаешь, что да как делать. Пастуху совесть одна начальник да хозяин...

— Нет у меня совести, всю растерял, а пастухом я не родился, а подрядился, так что спрос с меня никакой, пора это тебе зарубить на носу...

— И без того у меня на носу зарубок хватает, твою негде ставить. А тебе я так скажу, неволить да принуждать — не мой обычай, живи, как бог на душу положит, но коли взялся за гуж — тяни да не брыкайся, так вот. А где дорога в долину, сам, небось, знаешь, не мне указывать.

— Что ты гонишь меня, как пса шелудивого, дай срок, сам уйду. А теперь и мой совет выслушай — не приведи тебе господи на тропке узкой со мной повстречаться...

Рубец на лбу и щеке Чихлы молочно побелел, широкие ноздри вспухли, укрупнив нос, а сузившиеся зрачки когтями царапнули Лелуа по лицу. Меня он словно бы и не замечал, ибо все его существо сосредоточилось на ненависти к обидчику. Встреча с таким человеком на узкой тропе и впрямь не могла сулить добра.

Я хотел было встрять в перепалку, чтобы хотя бы слегка пригасить злое пламя этой ненависти, но Чихла вдруг резко повернулся и, загребая ногами, пошел прочь. Не успела лошадь, мирно щипавшая траву, поднять голову, как Чихла забросил правую ногу ей за спину и грузно уселся, сжав грязными сапогами вислые бока. Лошадь присела под всадником, потом вся подобралась и затрусилась по некрутому склону.

Лелуа хрипло дышал, словно не успевшая выплеснуться ярость хомутом обхватила его жилистую шею.

Тяжело переваливаясь, с нами поровнялся Антона. Два доверху полные молоком ведра тянули его к земле, и он, изо всех сил напрягая руки, пытался не расплескать тугую литарно-белую жидкость с легкой шапкой лопающейся пены. Антона поставил ведра на землю, вопрошающе поглядел на Лелуа, покачал головой, потер друг о дружку затекшие руки и снова ухватился за дужки ведер.

Сумерки затопили Иално. Подул знобящий низовой ветер. По воде пруда прошла крупная рябь. Слитно зашумели деревья, густо заштрихованные разливающимся мраком. Лицо Лелуа постепенно разгладилось, и багровые потеки яростного удушья исчезли со впалых, изрезанных прямыми морщинами щек. Глаза его сделались черны и печальны, и в этом, верно, тоже были повинны сумерки.

— Идите вечерять! — громкий, визгливый, как у всех глухих, голос Антоны прорезал слитный гул ветра, деревьев, воды и заставил вздрогнуть нас с Лелуа.

— И впрямь пора. Пошли! — Лелуа пошел вперед как-то боком, не желая, видимо, поворачиваться ко мне спиной. Я послушно зашагал за ним.

В хибаре было дымно и тепло. Резкие запахи овчины, сыра и кислого молока разбавлялись сладковато-пряным ароматом дыма. Неяркие всполохи пламени лизали закопченные стены и потолок, трещали, обливаясь горячими слезами, янтарные поленья.

На столе стояли три мятые алюминиевые кружки, две с погнутыми ручками, одна — без. Полголовки сыра было нарезано на ровные, крупные, все еще державшиеся вместе куски. Ломти привезенного мною хлеба веером разъехали по грубой оберточной бумаге. Посередине возвышалась картонная коробка с чаем. Горкой

лежали круглые помидоры, возле них ятаганно кривились большие желтовато-зеленые огурцы. Холмик крупной соли радужно посверкивал в бликах огня.

Я сел на топчан, крытый медвежьей полостью, и положил локти на стол. Стол качнулся, задвигались помидоры, осыпался холмик соли. Я быстро убрал локти, а Лелуа, глухо ругнувшись, расщепил надвое поленце и подложил половинку под ножку стола у стены.

— Тебе молока? — крикнул мне в ухо Антона и чуть отстранился, чтобы увидеть движение моих губ.

— Как всегда! — сказал я, энергично задвигав губами.

— Я так и знал! — прокричал Антона и сморщил в улыбке и без того сморщенное лицо. — А мы с Лелуа чайком побалуемся, молодец, что привез.

Лелуа, едва не располовинив коробку, большой оловянной ложкой засыпал в кружки с ручками черный пахучий чай, а Антона плеснул в них крутым кипятком из огромного чайника. Над кружками поднялся пар, и Лелуа, зажмурясь, с наслаждением вдохнул его. Антона поставил рядом с моей кружкой широкогорлый почернелый кувшин, и я, дождавшись, когда возившийся у огня старик присел наконец к столу, налил себе густого парного молока. Есть не хотелось, но боясь обидеть хозяев, я отломил сыру и принялся жевать, запиная его все еще теплым парным молоком.

Лелуа нарезал помидоры, подвинул их к Антоне, затем разломил огурец надвое, посыпал солью и смачно захрустел.

— Для огурцов и мяса у меня зубов не осталось. Вот и жую помидоры да сыр молодой. А без мяса что за работник, одна обуза. И хочу Лелуа подсобить, да силы уже не те. Последний, видать, год по Иално хожу, траву топчу, пора и честь знать... отходил, поди.

Антон макал в кружку хлеб и кусок за куском отправлял в рот вместе с сыром и помидорами. Говорил он на сей раз так тихо, что приходилось напрягать слух, чтобы за гудением пламени и треском поленьев слышать его глухой надтреснутый голос. Лелуа жевал сосредоточенно, и желваки на обветренном его лице так и ходили вверх и вниз. Чай он прихлебывал громко, со всхлипами и после каждого глотка дул на иссиня-черную жидкость в кружке.

— А с Чихлой, как ни говори, ты себя нехорошо ведешь, человеке, хош обижайся, хош нет. И чего ты его невзлюбил, понять не могу, мужик как мужик, работник вроде не из бросовых, а то, что злой он — немудрено, жизнь, видать, его крепко поломала да помяла. Отвяжись ты от него, не то, помяни мое слово, не доведет это до добра, ох, не доведет, оба вы горячие да неуступчивые — огонь да пламень прямо, и делу с того вред великий, и вам худо. Отвяжись ты от него, может, он и отойдет маленько, а там, глядишь, и время придет разбежаться в стороны разные, не детей, поди, крестить. В горах, с отарой одной иначе никак нельзя...

— Хватит тебе, Антона, Чихлу выгораживать, тоже миротворец выискался. Нутром чую, нечистый да темный человек он, не зря, небось, восемь без малого годков по тюрьмам трубил, с того у меня и веры в него нет, удружил мне Григол, нечего сказать, а бояться я никого еще не боялся, сам кого хошь испужаю. И тебя по-человечески прошу, не суйся ты не в свое дело, знаешь, поди, как разнимающему достается. Вот и стой себе в сторонке, не лезь разнимать да примирять...

Лицо Лелуа заострилось, сделавшись чем-то похожим на нож с широким бороздчатым клинком и черной деревянной рукоятью, которым Лелуа давеча нарезал помидоры. Антона, напряженно следивший за движением губ Лелуа, хрипло вздохнул, махнул рукой и присел на корточки перед присмирившим огнем.

Лелуа тяжело поднялся с треногого табурета, одним духом допил чай из кружки и буркнул: «Пойду, посмотрю за стадом да овцами». Затем выудил из-под топчана допотопный фонарь, который я в детстве не раз видел у путевых обходчиков, открыл застекленную дверцу, подкрутил фитиль и зажег его дымящейся щепой, что протянул ему Антона. Закрыв дверцу и подергав ее для верности, Лелуа бросил щепу в огонь, просунул руки в отверстия лоснящейся овчинной безрукавки, взял с табурета тускло коптящий фонарь, еще раз подкрутил фитиль, выровняв пламя, и вышел вон из хибары.

Антон поглядел на дверь, закрывшуюся за Лелуа, поднялся с корточек и заговорщически громко зашептал:

— Кремень — не человек, сколько ни бейся, только искры летят. Быть беде, коли не опомнится. Чихла,

по всему видать, мужик отчаянный, нашла, одним словом, коса на камень, хоть кол на голове теши...

— Все обойдется, Антона, авось притрутся, Лелуа, насколько я знаю, отходчив и незлопамятен. А с Чихлой я, пожалуй, поговорю...

— Упаси тебя бог, — замахал руками Антона, и лицо его выразило нешуточную тревогу. — Коли Лелуа про то прознает, навсегда тебя потеряет... Он страсть как не любит, когда в дела его мешаются. Вишь, как он меня отделал... Может и впрямь обойдется все... Ты приляг тут, а я пойду Лелуа подсоблю, Чихла, видать, и сегодня в лесной сторожке заночует, стоит им сцепиться, он тут же туда и уходит, всю работу на Лелуа бросает, попробуй, подними в одиночку...

Антон натянул на худые плечи засаленный ватник, надвинул на лоб войлочную шапку и вышел вслед за Лелуа.

Огонь в очаге захирел, и от него уже не тянуло жаром. Запас дров весь вышел, надо было идти к дровянику.

За дверью — осенний пронизывающий холод и ветер. После теплого солнечного дня такая резкая перемена казалась неправдоподобной. Но поднимаясь на Иално, следовало быть готовым ко всему. Теперь-то я понял всю смехотворность своего намерения поспать на свежем воздухе. Спина мгновенно одеревенела, а пока я кое-как набрал дров, насквозь промерз. Фонарь Лелуа двигался в загоне, откуда доносилось глухое мычание коров и ленивое бляение овец.

Подкормленный мной огонь вновь ярко разгорелся. Озябшему телу постепенно возвращалось утраченное было тепло. Языки пламени неровно колебались на стенах и лизали низкий потолок. Голова у меня закружилась, и я не раздеваясь прилег на топчан, покрытый медвежьей полостью. Неудержимо захотелось спать. Потеряв всякую способность воспротивиться навалившейся дремоте, я погрузился в качающийся мрак...

Проснулся я, как мне показалось, рано. И впрямь в хибаре было сумеречно и прохладно. Огонь затаился где-то под сизой дымкой пепла. Я сбросил с груди тяжелую овчину со свалывшейся, пыльной шерстью, пригладил пятерней волосы, отряхнул брюки и вышел из хибары.

На дворе совсем светло и свежо, а следы Лелуа с Антоной давно уже простыли: загон был пуст, и только дряхлый белесый волкодав неуверенно трусил вдоль перекладины забора. Ветер поднимал мелкую волну в пруду и гнал палую листву. Я умылся стылой водой из ведра и вернулся в хибару.

На столе стоял давешний кувшин, полный утреннего молока, и тут же лежала холщовая сумка с большой головкой сыра, завернутой в грубую оберточную, уже слегка подмоченную бумагу. Я налил молоко в кружку, залпом выпил и снова налил. Молоко пахло травой с дымом и было удивительно вкусным. Захотелось есть. Я отыскал в целлофановом пакете хлеб, взял с тарелки здоровенный кусок сыра и, запивая их молоком, наелся досыта. Пора было трогаться в путь. В кармане куртки я нащупал ключи от машины, дожидавшейся меня внизу у первого крутого подъема на Иално — ехать на ней дальше было небезопасно да и бессмысленно — дорогу на Иално можно одолеть разве что на двухосной машине, «Жигулю» же здесь просто нечего делать.

Плотно прикрыв дверь хибары, я пошел по тропинке мимо ворочавшегося под порывами ветра пруда. Сумка с сыром оказалась довольно тяжелой — видно, Лелуа выбрал головку побольше. Молочно-сизый туман курился над Иално. Солнца не было видно, но оно уже розово окрашивало далекий краешек неба. Быстро ходить было не только приятно, но и необходимо, чтобы в жилах задвигалась застоявшаяся за ночь кровь. Тропа пока еще приятно пружинила под ногами, камни начинались гораздо ниже.

Рассыпавшихся по траве овец скрывал высокий пригорок, на косом гребне которого виднелось лишь несколько зыбких коровьих силуэтов, но на всякий случай я все же помахал рукой невидимым Лелуа и Антоне. Чувство тревоги, возникшее вчера, поумерилось, и все теперь не казалось таким уж безысходным. Но нет-нет, да и всплывали в памяти заострившееся, словно нож, лицо Лелуа и белесый рубец шрама на черной щетинистой щеке Чихлы.

Тропа ныряла все резче и резче, змеясь и виляя по самому краю обрыва. Сумка с сыром кренила меня то вправо, то влево, мешая ходить. Вот тропа круто изогнулась и вплотную вжалась в бок поросшей кустарни-

ком скалы. Обогнув ее, я едва не столкнулся с Чихлой, стоявшим над обрывом, выставив вперед левую ногу. Сердце невольно ухнуло в желудок — вот она, та самая узкая тропа, которой Чихла пригрозил вчера Лелуа. По всей видимости, меченный шрамом пастух дожидался меня.

— Здравствуй... Мне Антона сказал, что у тебя машина внизу. Не подбросишь ли до совхозовской конторы. Лошадь моя что-то захромала, подкова сбилась. Иначе до вечера ни в какую не обернуться...

— Конечно подброшу. Мне как раз по пути...

— Спасибо... Я впереди пойду, давай сумку.

— Да нет, ничего, я сам понесу...

— Давай, давай, мне сподручней нести...

Чихла отобрал у меня сумку, и его сутулая спина надолго замаячила перед моими глазами.

Начался каменистый спуск. Тропа стала пошире, но зато потрудней для ходьбы. Камни дыбились, подставляли под ступни острые края, ускользали. Чихла дождался меня, и мы пошли рядом.

— Вчера я малость погорячился, крепко меня Лелуа обидел, вот я и сорвался. С первого дня самого, что собака волка встретил, да и я не дюже к нему в дружки набивался. Рыло от меня воротит, будто я у бога теленка съел. Ну, отсидел я восемь годков на нарах, ну, морда я арестантская, и отец мой покойный в тюрьме парашу выносил. А ты, ты ведь чистый, спроси хотя бы, отчего это напасть такая с нами приключилась-то...

Чихла размахивал сумкой, как пращей. Глаза его требовательно и яростно вонзились в меня, а голос звенел тетивой лука. Я, признаться, опешил от такого поворота событий и не знал, что сказать.

— Прости, опять я, кажись, сорвался. Ты-то в чем виноват...

— А ты скажи, легче, поди, станет...

— Легче не легче, а сказать скажу, коли слушаешь... Двенадцать лет мне было, когда деревню нашу — во-о-он там она, за горой той — с земли предков согнали да в Самгори сбросили. А каково горцу в пустыне голой жить — про то не спросили. Дорог у нас не водилось, это правда, по полгода, почитай, ни нам в долину, ни к нам из долины добраться было нельзя, да

зато вот на пастбищах наших скотине вольготно жилось, да и народу не худо, земля какая-никакая, а своя.

Кому мы мешали — не поймешь, да, видать, мешали, кость в горле, воли много себе взяли, управы на вас нет, толковали, а все оттого, что на отшибе живете, не добратся. Вот и сорвали силой, народ заартачился было, да сила, небось, и скалу распашет.

Все ушли в пустыню ту, только отец мой ни в какую, не уйду, говорит, и все тут, один зиму перезимовал, а как дорога открылась, забрали его. Пять годков вшей кормил, вернулся, поглядел-поглядел, и снова в горы, в гнездовье родное подался, сам-один зимовал, да не перезимовал, умер, три месяца мертвый в снегу пролежал, оттаять не смогли, так мерзлым и в землю отчью положили...

Чихла задохнулся то ли от резкого порыва ветра, то ли от сильного волнения. Волосы залепили ему глаза и рот. Он пятерней отвел волосы ото лба и поворотился лицом к ветру. Мы остановились, чтобы немного отдышаться. Высокий, но редкий лес по обе стороны тропы шумел неровно, с присвистом. Солнце высунуло макушку из-за Иално, и его осторожное тепло коснулось наших озябших спин.

— Так только в горах светает... Как подумаю, что вот спущусь теперь с тобой вниз и никогда не вернусь сюда, смерти у природы прошу, неволю горцу ни жить, ни умирать в долине...

Народ наш из пустыни сад сделал, благо вода пришла, и дома вроде справные, не чета хибарам горным, да вот не жилось, не радовалось нам, не пелось... В горах оно ведь как — запоешь, и эхо тебе тут же отзовется, так и поешь с ним в обнимку, а в долине-то, в долине, как начал один, так в одиночку и кончил — тоска смертная. С того и петь не могло, все больше молчалось...

Местные люди — они виноградари потомственные — уши все нашим прожужжали, виноградники, мол, закладывайте, дело верное, лозе раздолье, да какие из нас виноградари: посох пастуший да бурка на плечи — вот наши забота да дело — скотоводы мы, а тут животные одни ишаки длинноухие, живи, поди, не житье то — маета сплошная, в горах родных душа наша осталась, а

без души и руки опускаются, ни к чему другому не тянутся...

Тропа в последний раз обкрутилась вокруг лесистой горы и влилась в каменистую ложбину. Огромные белые валуны напоздали друг на друга, вставали на дыбы.

Чихла, словно тур, запрыгал с валуна на валун, держа на весу сумку с сыром. Я, осторожно ставя ступни на гладко отполированные поверхности камней, с опаской следовал за ним.

Иссохшее ложе пропавшей реки широко раскинулось меж отпрянувших в стороны и тесно сомкнувшихся осин. Постепенно набравшее силу солнце еще больше отбеливало и без того мертвенную белизну камней, подчеркнутую темнотой, все еще царившей в осиннике.

Машина ожидала меня в бывшей излучине большой реки: ярко-красное пятно, в котором смазанно отражались белизна камней и чернота осинника. Чихла давно уже стоял возле машины, когда я подошел к нему. От напряжения у меня свело икры и каждый шаг давался с трудом.

Я смахнул с ветрового стекла увядшие листья, прибитые к нему ветром, и отключил сигнализацию, только теперь осознав всю ее нелепость здесь, в этом каменисто-лесном безлюдье. Мотор прерывисто заурчал. Я терпеливо ждал, пока он разогреется, и искоса поглядывал на потухшее лицо Чихлы. Сумку с сыром он поставил между ног.

Я медленно тронул машину с места и, то и дело неловко лавируя, повел ее по ухабистой дороге. Чихла, сгорбившись и втянув шею в плечи, чтобы при толчках не удариться головой о верх машины, невидяще смотрел вперед. Наконец, он снова заговорил, и мне приходилось до предела напрягать слух и внимание, чтобы, ни на мгновение не отвлекаясь от дороги, не упустить в то же время ни единого слова из его рассказа.

— Что и говорить, неприкаянно народ наш жил, места себе не находил да одним глазком все в горы поглядывал. И вот собрались однажды мужики наши и порешили купить вскладчину молодняк да в отчие края по весне двинуть: отсюда, мол, срываться не станем куда, поглядим что да как, а там видно будет...

Снарядили на дело это десятерых, и меня в том

числе. Сказано — сделано: купили мы по деревням в предгорье бычков, телок да буйволиц и погнали в горы родимые. Пришли, а там такое делается — сердцу разорваться впору — не деревня, а кладбище сплошное, и дома, что памятники земле нашей мертвой, в прахе лежат. Два десятка лет — срок немалый — ни земле, ни дому не протянуть без хозяина — вот и не протянули, кончились.

Не стали мы причитать да волосы на голове с горя рвать — постояли, шапки сдернув, а потом за дело принялись. Перво-наперво хлевы для скота поставили, а как поставили, и о себе позаботились—два дома, что покрепче были, обжили на руку скорую, залежи на буйволицах перепахали, пастбища обиходили.

Что зря языком трепать, дело крестьянское известное, а пастушье и подавно — день-деньской одно и тож, да вот нам все в радость — шутка ли, мать места из мертвых восстала, чад своих блудных приветила, ожила, словом одним, хоть и хворая, да все живая...

Бычки в быков обратились, телки в коров крутобоких, буйволицы щедро доились да с быками силой тягались, стога аж до неба поднялись, шапкой облака задевают. Под ногами земля отчая, над головою небо материнское, перед глазами горы родимые. Чего же еще душе надобно?..

На зиму глядя, семеро мужиков наших скотину убойную в долину погнали, мы же втроем со стадом зимовать остались. Снегу навалило в зиму ту видимо-невидимо, а нам и горя мало — у животины корму вдоволь, да и мы вроде не голодны.

Прежде, чем товарищи наши ушли, мы им велели народ не полошить, с земли постылой зря не поднимать, покуда просьбу нашу на возвращение в места родимые не уважат, а там, глядишь, и дома обновим, дорогу проложим, это — чтобы зажить по-человечьи...

Весной, как снег стаял и путь в долину открылся, два «колхозника» в деревню нашу невесть откуда и явились — четверо гражданских да двое милиционеров из них вышло да к нам, кто, дескать, дозволил вам тут зимовать, скотину держать, землю на пастбища себе присвоить. Мы им все чин-чином и выложили — все как на духу. А они скот у нас отнять да угнать надумали. Мы и так и эдак просим, все бумажки нужные добыть обеща-

лись, да они ни в какую — за нарушение закона, говорят, всех вас упечем куда след, а скотину реквизируем в пользу государства. Они к скотине — мы грудью стоим им. И тут милиционер один возьми и вытащи пистолет, застрелю, кричит, бандитское отродье. Товарищи мои и отступились. Потемнело в глазах у меня от ярости лютой, никого не вижу, только рука с пистолетом из мрака кромешного выглядывает. Вот по ней-то я что силы было посохом пастушьим и...

Чихла вдруг осекся и задергался в кашле. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Я на мгновение выпустил из рук руль. Машина вильнула, угодила в ухаб, и Чихлу бросило прямо на меня. Я больно ударился плечом о дверцу. Мотор заглох. Некоторое время мы сидели не шевелясь: Чихла — привалившись ко мне, я — к дверце. Потом Чихла резко выпрямился и с тревогой посмотрел на меня. Сумку из рук он не выпустил.

— Ничего страшного, легко отделались, могло быть и хуже, — попытался улыбнуться я, все так же привалившись плечом к дверце. Потом откачнулся от нее и потер ладонью ушибленное плечо. Рубец на лбу и щеке Чихлы сделался иссиня-бледным.

Я включил зажигание, и мотор заработал без перебоев. Мы ехали уже по мартвисскому проселку. Вскоре показалась контора совхоза. Возле ее ограды стояло два грузовика, а у ворот, размахивая руками, переругивалось несколько мужчин. Я остановил машину прямо около них. Они обернулись было, но тут же вновь отвернулись и продолжили громкую перепалку.

Чихла вышел из машины, все еще продолжая держать в руке сумку с сыром. Я открыл дверцу и тоже вылез. Чихла обошел машину спереди, подошел ко мне и протянул сумку. Я принял ее в правую руку, потом перебросил в левую, ощутив в плече острую, молниеносную боль. Чихла повернулся было уходить, но я перехватил его правую руку и крепко сжал ее, не попав ладонью в ладонь. Чихла быстро взглянул на меня, осторожно высвободил руку и, взмахнув ею, пошел к конторе. Я открыл багажник и в сердцах швырнул сумку с сыром на порожнюю канистру. Канистра глухо гроыхнула...

Прошло три месяца. Побывать на Иално еще раз я так больше и не удосужился. Где-то под Новый год в

моей квартире раздался звонок. Я открыл дверь и увидел глухого Антону, согнувшегося в три погибели под тяжестью меха. Я помог ему войти в прихожую.

— Это тебе Лелуа велел передать, — прокричал, отдышавшись, Антона. — Еле дотащился. Ты его в подвал положи, да поворачивать не забудь, не то испортишь. Сыр-то знатный, гуда...

— А что с Лелуа, он ведь сам ко мне наведаться обещал...

— Теперь ничего, благодарение богу, а ведь в колоду обратился было, как выкарабкался — ума не приложу... Мертвяк мертвяком... И теперь еще в больнице отлеживается — да жить, говорят, будет...

— Чихла...

— Да, да, Чихла, Чихла, кабы не Чихла, гнить бы ему в земле сырой. Каков мужик-то оказался, железо железное, не человек, поверишь, на себе Лелуа с Иално снес, это ночью-то, ночью... В осиное гнездо Лелуа, горемыка наш, угодил, насмерть искусали, а вздулся — колода колодой. Ты бы видел, как Чихла его на плечи себе положил — не согнуть было. А ведь донес, до больницы самой донес. Кому ни толкую — не верит никто, это по тропе-то нашей, ночью-то, ночью, слава богу, луна полная в ту пору была, не то валяться им оба-двое в пропасти бездонной... А Чихла-то, Чихла каков, до утра еще и назад обернулся, мне на подмогу, как бы я один с барантой да стадом сладил... Вот тебе и Чихла... Рассчет третьего дня в конторе взял, в свои горы, говорят, подался...



Коба ИМЕДАШВИЛИ.

„НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ПРОШУ Я У ГРУЗИК“...

В 1930 году на Всесоюзной олимпиаде национальных театров в Москве спектакли театра имени Руставели привлекли всеобщее внимание. «Грузинские артисты со своим гениальным режиссером Сандро Ахметели одержали еще одну победу» (А. Кристенсен).

«После гастролей Ахметели в Москве в столичных театрах наступил застой, продолжавшийся два сезона. Мы были растеряны, потрясены тем впечатлением, которое произвели на нас ахметелевские спектакли» (А. Попов).

На этих гастролях грузинская драматургия была представлена драмой-мистерией Григола Робакидзе «Ламара», первую постановку которой Ахметели осуществил вместе с Котэ Марджанишвили еще в 1926 г.



Григол Робакидзе.



Григол Робакидзе
(см. стр. 127)

«Ламара» явилась событием в советском театральном искусстве, и более того, спектакль имел значительный политический резонанс.

Театр имени Руставели сразу выдвинулся в ряды ведущих театров страны, предполагаемые гастроли руставелевцев за рубежом ожидалось с большим интересом. К сожалению, они не состоялись — время было трудное.

Идею создания «Ламары» подал автору Котэ Марджанишвили в 1924 году во время одной из бесед в Манглиси, где отдыхала труппа руставелевского театра (Котэ Марджанишвили имел привычку выезжать на отдых вместе со всей труппой, чтобы иметь возможность продолжать работу). Григол Робакидзе предложил тогда инсценировать «Змееда» Важа-Пшавела. «Инсценировку

мы не хотим! — ответил Марджанишвили. — Что если ты сам попытаешься написать пьесу на этой мифологической основе?». В результате была написана «Ламара», которую в конце осени того же года Григол Робакидзе прочел корпорации актеров и режиссеров руставелевского театра.

Премьера состоялась 29 января 1926 года.

Вот что писал после премьеры критик Иванэ Гомартели: «Выйдя из театра, я почувствовал какое-то внутреннее обновление, словно бы заново родился и преисполнился величайшей гордости... Григол Робакидзе — выдающийся человек и в еще большей степени выдающийся грузин, его «Ламара» — редкой красоты поэтическое произведение, сильное своей основной мыслью, композицией, ритмом, чарующее своей внутренней музыкой, совершенным языком, отшлифованным словом... Когда, с точки зрения автора, проявляется в чистом виде природа нации? Когда она связана с землей, утверждается

на земле, живет землей, питается культурой земли... Своеобразное понимание Григолом Робакидзе культуры земли проявляется и в «Лонде», «Мальштреме» и других произведениях...

Григол Робакидзе стремится включить грузинское искусство в ареал европейского искусства, сохранив его подлинное лицо и сущность» (журнал «Тэатри да цховреба», 1926, № 15).

О Григоле Робакидзе, как и о блестящем руствелологе Викторе Нозадзе или других наказанных судьбой, разбросанных превратностями жизни по всему миру деятелях грузинской культуры, мое поколение знает немного, да и то понаслышке. Поэтому, когда возникает необходимость, я заглядываю в не издававшийся «Словарь грузинских деятелей», принадлежащий перу Иосифа Имедашвили. Согласно этому словарю, Григол Титович Робакидзе — видный грузинский писатель XX века, «родился в селе Свири (Кутаисского уезда) 28 октября 1884 (по другой версии — 1881) года. Среднее образование получил в Кутаисской духовной семинарии, высшее — в Германии (философский факультет) и в России (юридический факультет). Кроме грузинского владеет русским, немецким и французским языками. Специальность — поэзия, литература, направление — модернизм (здесь он сказал свое слово — см. его статью «Возвращение к земле»). Философское убеждение — интуитивизм (субъект в разорванном космическом кольце), патриотизм понимается им как одна из ступеней духовного развития. Первая его статья «Социологический этюд» была опубликована в 1902 году в «Цнобис пурцели» (№ 1774)».

После возвращения из-за границы (1908—1911) Григол Робакидзе выступает с публичными лекциями, посвященными творчеству Шота Руставели, Акакия Церетели, Важа-Пшавела, Ильи Чавчавадзе, Николоза Бараташвили, Нико Пиросмани, Оскара Уайльда, Фридриха Ницше, Оскара Шпенглера. Его первую лекцию об Акакии Церетели сердечно приветствовал Арчил Джорджадзе, известный публицист, исследователь грузинского общественного движения. На ту же лекцию статьей «Восходящее солнце» откликнулся и Илья Зурабишвили. На лекции, посвященной Ницше, присутствовал сам Акакий и, опубликовав свои впечатления в газете «Тэми», поддержал молодого ученого.

Пройдет время, и Котэ Марджанишвили скажет о Григоле Робакидзе: «Он действительно жрет солнца».

Григол Робакидзе активно включается в общественную жизнь Грузии, предпочитая, однако, арену искусства и литературы арене политической. Будучи помощником председателя правления объединения художников, он принимает активное участие в мероприятиях по спасению гибнущих грузинских фресок и снятию с них копий, по выявлению произведений, принадлежащих перу Пиросмани, и соответствующей их оценке. Позднее, после революции, Григол Робакидзе как заведующий отделом искусства Комиссариата просвещения участвует в спасении Кашвети¹ от уничтожения. Но главное дело его жизни — это его произведения: стихи, новеллы, пьесы, романы, эссе, критические статьи...

В небольшой журнальной статье невозможно сказать все о его творчестве, настолько это сложное, многообразное, глубокое явление, обозреть его не под силу одному человеку — не хватит ни времени, ни знаний, ни усилий, поэтому я ограничусь общими положениями.

История грузинской советской литературы без романов, пьес, стихов, новелл, эссе, критических статей Григола Робакидзе будет неполной. Как творец он определяет характер процесса мифологизации грузинской литературы 10—20-х годов, принципиально новое отношение к слову; как литератор он — признанный метр «голубороговцев»; как критик он один из первых исследует проблему эпоса «Житие Грузии» и вообще сущности грузинского духа; с удивительной точностью и проницательностью анализирует художественный текст, природу образа, проблему времени в художественном произведении; дает новую оценку творчеству Шота Руставели, Важа-Пшавела, Акакия Церетели, Эгнатэ Ниношвили... Он сознательно и целеустремленно борется за дружбу между народами, создает книгу литературных портретов (1919) — Петра Чаадаева, Михаила Лермонтова, Василия Розанова, Андрея Белого. Он пишет исполненный любви очерк об Армении «Айастан» (1929), который был переведен на армянский язык. Он первый из грузинских писателей создает замечательное эссе о Владимире Ильиче Ленине (1924), в котором с психологической глубиной раскрывается характер этой эпохальной личности.

В 1926 году Григол Робакидзе публикует свое весьма значительное произведение — роман «Зменная рубаха», о котором впоследствии Стефан Цвейг скажет следующее: «Необыч-

¹ Кашвети — церковь в Тбилиси.

ная, удивительная книга». Ему же принадлежит предисловие к немецкому переводу романа. На мой взгляд, роман отличается принципиальной новизной. Это было то время, когда грузинская литература искала своего нового героя, она должна была дать ответ на сакральный вопрос — как жить народу в новой действительности, какая часть его жизнеспособна, каковы перспективы его будущего, где путь к спасению и прогрессу. Казалось, было несколько ответов на эти вопросы, но в конце концов они сводились к одному — одна часть нации обречена на вырождение, бесплодие, для нее нет пути к спасению. Эта концепция дает о себе знать уже в десятые годы двадцатого века и с философской точки зрения берет начало во взглядах Ницше. Григор Робакидзе находит иные ответы на эти жгучие вопросы. «Стремление к родине, зов крови предков, мистический страх умереть, не оставив после себя никого, бесследно исчезнуть, что так характерно для Константина Саварсамидзе (главного героя романа К. Гамсахурдиа «Улыбка Диониса»), — писал я в журнале «Мнатоби» в 1967 году, — все это, как видно, в силу ряда причин заслуживало внимания грузинского общества. Именно этим можно объяснить подсознательное стремление героя робакидзевского романа «Змеиная рубашка» Арчибальда Мекеша к своей родине — Грузии и упорные поиски им своих корней. Он установил свою фамилию, нашел своих предков, самого себя, наконец, и стал черпать силы в родной земле и родном народе, что помогло ему приспособиться к новой действительности. Если энергия, которую черпал Таиа Шелиа в коллективе, не была для Константина Саварсамидзе жизненной энергией, то Арчибальду Мекешу родная земля и дочь этой земли вернули жизнь». Старинная фамилия Арчибальда Мекеша (Макашвили - Ирубакидзе — К. И.), воспоминание о берегах Тигра и Халдее — прародине его предков придают ему силы, а для Бондо Чиладзе (главного героя романа Демны Шенгелая «Санавардо») все это не что иное, как причина его духовной усталости, потеха для холодного ума.

Новая жизнь вселяет тревогу в Бондо Чиладзе («Хоть я и ни в чем не виноват, меня наверняка вздернут»), Арчибальд Мекеша принимает новую Грузию и, полный жизненной энергии, оставляет после себя потомство.

Мотив ухода из жизни без наследника имеет в грузинской прозе тех лет социально-политический оттенок. Тот факт, что со смертью Бондо Чиладзе, Константина Саварсамидзе

и Тараша Эмхвари (героя романа К. Гамсахурдиа «Похищение луны») угасают старинные роды, не случаен.

У этих романов — «Санавардо», «Улыбка Диониса» и «Змеиная рубашка» немало общих мотивов и эстетических принципов создания характера, но они значительно отличаются друг от друга. «Змеиная рубашка» — полемическое произведение, его пафос — увидеть в прошлом все лучшее, соединить новое со старым. («Я должен быть оправдан историей... Без этого нет спасения». — Разве сегодня мы не придерживаемся той же концепции?! — К. И.) И потому именно, несмотря на совпадение отдельных сюжетных линий, герой «Змеиной рубашки» принципиально отличается от Бондо Чиладзе, Константина Саварсамидзе и Тараша Эмхвари. Герой Робакидзе — сильная личность с железной волей и неиссякаемой жадой жизни.

У нас нет другого романа той же концепции, нет и подобного героя. Образ его — значительное достижение грузинской литературы, поскольку в нем нашла воплощение идея, в которую вдохнул жизнь еще Илья Чавчавадзе, — идея единения нации.

В «Змеиной рубашке» Григол Робакидзе не только как художник, но и как социолог, психолог, философ исследует, анализирует и отображает людей, творивших Октябрьскую революцию. Его наблюдения и выводы по сей день не утратили своего значения. Он вновь возвращается здесь к образу Ленина, что придает роману значение документа, особенно там, где автор вспоминает выступление Ленина в Париже в 1908 году. Очевидно, это личные воспоминания автора, поскольку в это время он находился в Париже.

«Змеиная рубашка» — не из тех книг, которые читают, чтобы убить время, она требует активного чтения, каждое слово в ней, каждый звук имеют свое точно определенное место. Это — строго организованная, но в то же время глубоко поэтичная проза, визуально красочная, на слух — певучая, как музыка. Автор искал и зачастую находил в самом слове его сверхсущность, не отраженную в словарях. Вспомним его поразительной точности высказывание: «Само имя его — Ульянов-Ленин — звучит как порыв урагана».

Мотив единения нации, возвращения к земле, грузинский дух, олицетворенный в сильной личности, вера в будущее Грузии — вот определяющие творчества Григола Робакидзе. Как мы уже говорили, оно было многообразным и в жанровом, и в тематическом отношении. Но помимо концептуального единства и общей целенаправленности его объединяет и

оригинальная идея отношения к слову, тот принцип композиции художественного текста или внутренней музыкальности слова, который довольно редко встречается в практике даже самых талантливых писателей. Исследователи творчества Григола Робакидзе подчеркивают именно эту особенность его стиля: особенное отношение к слову, к звуку. Вот что говорил Ромен Роллан, который был и прекрасным музыковедом, о мистерии Робакидзе «Лонда»: «Я считаю, это произведение, особенно его первая и последняя части, гораздо ближе к творениям наших великих музыкантов, нежели поэтов. Его музыкальная архитектура поразила меня».

Нам еще предстоит говорить о связи Григола Робакидзе с грузинской, русской и европейской литературой, причем не только его времени, но и наших дней с точки зрения той или иной концепции, отношения к человеку, к слову, композиции художественного текста (искусство монтажа) и т. д. Многое нужно проанализировать. Работы в этом отношении — непокатый край.

К изданию «Змеиной рубашки» 1926 года приложен список избранных произведений Григола Робакидзе: 1. «Лонда» — драматическая симфония; 2. «Карду» — трагедия в трех действиях; 3. «Мальштрем» — фантазмагория в шести картинах; 4. «Ламара» — пастораль в шести сводах; 5. «Халибское оружие» — лирика; 6. «Солнечный удар» — лирика; 7. «Патмосские ритмы» — лирика; 8. «Хоралы» — лирика; 9. «Змеиная рубашка» — роман; 10. «Грузинские авторы» — критика; 11. «Иностранные авторы» — заметки; 12. «Портреты» (на русском языке); 13. «Литературные проблемы»; 14. «Эстетические зарисовки»; 15. «Эпос «Житие Грузии»».

Все это в настоящее время — библиографическая редкость. Когда, наконец, они будут изданы, да и не только они, но и другие произведения забытых писателей 10—20-х годов, создастся более полное представление о нашей истории, нашей литературе, на многое в нас самих мы взглянем иными глазами, отнесемся с иной, большей ответственностью. Ведь именно это и есть одна из задач происходящей в стране перестройки, в этом заключается суть гласности, справедливого и объективного отношения к истории, к судьбам людей.

Гласность и связанное с ней новое мышление подразумевают то, что мы должны сохранить для будущих поколений все то лучшее, что создано нашими учеными, художниками, мыслителями — где бы то ни было, когда бы то ни было.

Григол Робакидзе был разносторонней личностью. Его интересы не ограничивались одной лишь Грузией. Прекрасно владея русским и немецким, он создавал замечательные произведения и на этих языках. Из них наиболее значительными, на мой взгляд, являются написанные по-русски четыре портрета: Чаадаева, Лермонтова, Розанова, Белого*. В них Гр. Робакидзе излагает свое понимание этих выдающихся представителей русской литературы. Портреты интересны и тем, что в них четко отразилась личность самого автора, его незаурядная эрудиция и способность постижения самой сути и глубины явления. Они вышли отдельной книжкой «Портреты» в тбилисском издательстве «Кавказский посредник» в 1919 г.

Трагичной была судьба Григола Робакидзе. В 1931 году, находясь в Германии, Гр. Робакидзе вынужден был воздержаться от возвращения на родину. Благодаря этому он избежал фатальной участи своих друзей — Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Михаила Джавахишвили, Сандро Ахметели, Евгения Микеладзе и многих других. Он сохранил жизнь, но обрек себя на вечное страдание — удел любого истинного грузина, оторванного от родины. Впоследствии Гр. Робакидзе напишет документальный роман «Хранители Грааля», где правдиво опишет трагические события тех лет, даст беспристрастную оценку бесчеловечности и беззакониям, творимым Берия и его приспешниками, предвосхитит нашу сегодняшнюю оценку той эпохи. Он скончался в Женеве 19 ноября 1962 года в полном одиночестве. Как отмечает С. Г. Исаков в своей книге «Сквозь годы и расстояния» (1969), ссылаясь на «Словарь мировой литературы», изданный в Штутгарте в 1963 году, «в некрологах, появившихся в западной печати после его смерти, в ноябре 1962 года, Гр. Робакидзе называли даже классиком мировой литературы». Личный архив Гр. Робакидзе был передан в распоряжение Цюрихской академии архивов выдающихся людей. До конца своих дней он жил Грузией («С большим интересом слежу за тем, что делается у вас в области культуры», — писал он в 1962 году в письме к своей сестре). Надеялся вернуться на родину, так и не смог привыкнуть к жизни за границей, жаловался: «Солнце щедро заливает мою квартиру, но оно не такое жгучее, как у нас...»; «Сердце горит и болит и боль переходит в мысли... и так ежедневно: оторванный от родины, я жалуясь на судьбу, «брошенный судь-

* Ниже публикуются два портрета: В. Розанова и А. Белого.



бою»... «Что тебя опечалило?» — слышу твой голос, ободряющий, певучий и в то же время твердый и уверенный. «Что может противостоять гневу божьему...».

Он постоянно страдал от того, что Грузия была далеко от него, и он сам со своим талантом, знаниями, энергией был вдали от Грузии...

Но душой был с ней. Тому свидетельство изданные на немецком языке его книги о грузинской действительности: романы, рассказы, эссе, статьи... Он активно интересовался жизнью современной ему Грузии. Из писем к сестре, Лидии Титовне, явствует, что он был в курсе литературных новостей.

В своих мыслях он был здесь, на родине, но все равно ему остро не хватало ее, и Грузии не хватало его. Это была его злая судьба и его незаживающая рана. Недаром он писал: «Я оторван от нашей родной земли, но дальними корнями крепко привязан к ней. Этими корнями и жив я на чужбине».

Большой его заботой было будущее его народа — молодежь. Он призывал ее объединить в себе в единое целое прошлое и будущее Грузии, прислушиваться к идущему из глубины веков зову души народа.

«Среди вас мнятся мне, — писал он, обращаясь к молодежи, — святая Нино, которая крестом из виноградной лозы причастила нас к заповедям Христа, Давид Строитель: основоположник грузинской государственности, царица Тамар, солнечный нимб этой государственности, царица Кетэван, названная сестра святой Нино, принявшая муки во имя креста из виноградной лозы, глашатаи великого Карду, нашего мифического прародителя — Якоб Цуртавели, Георгий Мерчуле, Шота, Сулхан-Саба Орбелиани, Илья, Акакий, Важа. Они пребудут с вами, могущественные и сильные, и никто не одолеет вас».

И последняя его просьба прозвучала как завещание: «Я мечтаю, чтобы ежегодно, когда меня уже не будет на этом свете, в октябре, месяце моего рождения, отправлялась во Мцхета грузинка-мать, зажигала бы свечу в маленькой молельне (имеется в виду молельня справа у входа в Светицховели — К. И.) и в молитвах вспоминала меня. Ничего больше не прошу я у Грузии».



Два письма Григола Робакидзе

044935940
202201100330

Галактиону Табидзе



Григол Робакидзе

«Госиздательство», напечатанная в № 9 журнала, стр. 7—8. — И. Л.)! Вот почему ты должен стараться отмежеваться от них мой Галактион. Между ними и тобой такое же пространство, как между небом и землей или, если угодно, между Пушкиным и Кукольниковом. Твой журнал может выходить во всякое время, но он должен быть свободен от вся-

Мой милый Галактион!
Я очень огорчился, что не смог повидать тебя перед отъездом! Но — у нас была безусловно уважительная причина. В Бакуриани я хорошо провел время: прекрасная природа — дикая, нежная. Наши встретили меня располневшими. Настроение было веселое. Из Бакуриани я отправился в Сурами, потому и опоздал на два дня. Меня встретил твой журнал («Журнал Галактиона Табидзе» № 9. — И. Л.). Благодарю, твой «Ураган» великолепен, шедевр. Но в целом журнал производит слабое впечатление. Совершенно бессмысленна и вымучена статья Сихарулидзе. Старая тема — воспоминания грузинского парижского студента, так сказать. Какой жемчужиной блистает среди этого убогого материала твоё стихотворение и статья (имеется в виду статья

кого пятна. Он должен быть таким же кристально чистым и высоким, как и сама твоя поэзия.

Этим прославился и Акакий. Ты как глава определенной, сформировавшейся школы должен заняться воспитанием молодежи. Ведь талант можно обнаружить с первых же строк, а ты — провидец внутренней природы человека. Такому таланту нужно дать дорогу и пестовать его, дать ему расцвести иначе, уверяю тебя, эти поэтишки в твоём журнале — все равно как пятно на лице прекрасной дамы. Как можно больше твоих произведений — это делает твой журнал общим любимцем нашего народа.

Наши с тобой слова, кажется, сбылись: «Чвени მეძინა-რება», II и III, «Руствелиана» Ингороква и прочие серьезные издания нашего университета. Если попадетсЯ тебе где-нибудь завалящая «История словесности» Г. Джавахишвили, пришли мне. Причем, оцени золотом, ты знаешь, я не подведу, тотчас же вышлю тебе.

И. Гришашвили просил у меня твой журнал, но я не могу ему послать, так как мне самому уже не останется.

1.IX.1923 г.

Григол РОБАКИДЗЕ

Акакию Церетели

Дорогой Акакий!

Ваша благородная натура для меня — реальность солнца. Я всегда верил в это. А позавчера вечером эта реальность стала для меня осязаемой: меня обвинили в каком-то «расчете», я почувствовал себя оскорбленным, отменил «вечер» и, когда пришел к Вам сообщить это, совершенно был успокоен Вашим лучезарным словом.

Общество весьма заинтересовалось «вечером Руставели». Ждет его с нетерпением. Вы — первородный сын Руставели: без Вас не может состояться вечер его памяти. Мы назначили вечер на воскресенье (16 июня). Завтра Вы отбываете в Сачхере. Ждем Вас с нетерпением!

1918, июня 10

Вечно Ваш Григол РОБАКИДЗЕ.

* Письма хранятся в Государственном литературном музее Грузии им. Г. Леонидзе и в Институте рукописей им. К. Кекелидзе АН Грузии. Публикация (на грузинском яз.) Иосифа Лордкипанидзе, «Литერатуриლი Сакартвелო» 26 июня 1987.



ДЛЯ грузинской нации литература не была только «сферой словесности». Литература для нее являлась более сложным феноменом. Грузинский народ не только создавал литературу, он и жил ею. Какой-нибудь сладкозвучный шапри, рожденный фонтаном вдохновения, попадал в народ и начинал собственную удивительную жизнь. Он выливался либо в волшебные переливы песни, либо в вольные движения танца.

Грузинский народ поэт по природе.

В удивительном обломке древней Месхети — Гурии — народ и по сей день поэт. Трудно найти там семью, в которой весной, в пору обновления солнца, не устраивались бы шаироба — состязания стихотворцев, и очень легко найти семью, в которой чарующий дар стихотворства переходит из поколения в поколение. То же и в Мегрелии, даже в еще большей степени. Грузинская нация не только наслаждается стихом: она и болящих исцеляет им: вспомните «батонэби» — «господа», болезнь, которую грузины называют еще и «цветком» — «квавила»¹ (это первый случай, когда болезнь получает художественное название), вспомните песню, которую под аккомпанемент чонгури поют больному и вы поверите в сказанное.

Стиль грузинской нации воплотился в литературе. Профиль грузинской культуры вычеканен в стихе. Духовный рельеф Грузии вычерчен художественным словом.

У нас есть замечательная архитектура, которая выразила волю древней Грузии, незыблемую и твердую. У нас есть восхитительные фрески, в которых воплотились наши сны наяву, расцвеченные солнцем. Есть грузинский храм, скрепленный молитвами немых камней; есть грузинская песня, странная и красивая, и много чего другого.

Но есть еще и нечто такое, подобное которому трудно сыскать где-либо: это грузинское слово, рожденное пластикой, и основоположник его — солнечный Руставели. Грузия — таинственный перевал между Востоком и Западом; мы горим задумчивым восточным полднем, когда в мареве солнечных ручьев рождается Пан, тяжело дремлющий; мы смыкаемся с опасной реальностью Запада, в фантазмагориях которой вычерчивается могущественное потомство. Мы задумываемся над египетским сфинксом и изумляемся парижским химерам.

¹ Краснуха.

Мы справляем свадьбу Востока и Запада, и пир этот — главный мотив нашего чеканного слова. Еще не провозглашены все здравицы этого пира, потому что часто, очень часто мешали нашему беззаботному времяпровождению — и само собой разумеется, что и слово грузинское сказано не до конца.

И вот сейчас, когда судьба Грузии осияна радугой, мы, исполненные гордости, должны произнести: Грузия станет свободной и явит миру свое истинное слово.

В бледноватых линиях проступает сама плоть слова.

Нашему духу ведомо страдание, но плечам нашим неведом плащ меланхолии. Наше сердце пылает огнем, но думы наши не присыпаны пеплом. Страдание наше — страсть Диониса, и огонь наш — гений жизни.

И Заратустра Ницше именно в нас может родиться с божественной свободой.

Страдание и огонь — в этих двух словах заключается суть всей нашей жизни. Так что же: первое очистит нас для божественной жертвы, второй облачит в багряные одежды...

(Газ. «Сакартвело», 1917. Месяц вина (октябрь) 17, № 228).



Фрагмент группового снимка (см. стр. 116).

Этот редкий фотоснимок, сделанный в селе Рокити в усадьбе большого друга грузинских писателей и общественных деятелей Георгия Ахвледиани, предоставленный нам литератором Эдишером Гиоргадзе, обнаружен в личном архиве публициста Давида Деметрадзе. Григол Робакидзе сидит во втором ряду в центре. Справа от него — ректор кутаисской дворянской гимназии Николай Кутателадзе. Стоят (слева направо): писатель Александр Кутатели и комиссар народного образования Давид Кутателадзе. В первом ряду — Георгий Ахвледиани.





Стране,
 где в беспредельных степях
 слышен
 далекий гул
 Апокалипсических коней, —
 России —
 эти раздумия
 грузинский поэт
 любовно посвящает.

Василий Розанов

«Лицо красное, кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая). Волоса прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат кверху, но не благородным «ежом» (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало (маленькое, ручное): «Ну кто такого противного полюбит». Просто ужас брал» («Уединенное», стр. 33). Это Розанов говорит о себе. И далее: «С выпученными глазами и облизывающийся — вот я» («Опавшие листья» короб 2-й, с. 8). Внешний портрет почти очерчен. «В вас мужского только... брюки», — говорит ему дочка 17 лет. А сам добавляет: «Т. е. кроме одежды — неужели все женское? Но я никогда не нравился женщинам (кроме «друга») — и это дает объяснение антипатии ко мне женщин, которою я всегда (с гимназических пор) столько мучился» («Уед.», с. 17).

Автопортретист продолжает: «У меня какой-то фетишизм мелочей. «Мелочи» суть мои «боги». И я вечно с ними играюсь в день. А когда их нет, пустыня. И я ее боюсь» («О. Л.» короб 2-й, с. 220). И далее: «Душа моя какая-то путаница, из

* Сохранена авторская пунктуация.

которой я не умею вытащить ногу» («О. Л.», к. 1-й, с. 204). В его душе почти — все: «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти» («Уед.», с. 100). «Демоническое» в нем только желанное: «У меня чесотка пороков, а не влечение к ним, не сила их» («О. Л.», к. 2-й, с. 321). И еще: «Я весь в корнях, между корнями. «Верхушка дерева» — мне совершенно непонятна (непонятна эта ситуация)» («О. Л.», к. 1, с. 508). Под конец: «Литературу чувствую, как штаны» («О. Л.», к. 1, 195).

Довольно: — портрет завершен. Это — какой-то Передонов, — но с чем-то особенным. Фридрих Шлегель сказал о себе: «Дурак с духом». Розанов может сказать о себе: Передонов с гениальностью: вот я. Послушайте: «Я невестился перед всем миром; вот откуда мое волнение. — Авр. невестился перед лер., а я перед природой. Это и вся разница. Я знаю все, что было открыто ему» («О. Л.», к. I, с. 201). Да: ему открыто многое и знает многое: «Мне иногда кажется, что я понял всю историю так, как бы «держу ее в руке», как бы историю я сам сотворил, — с таким же чувством уроднения и полного постижения» («О. Л.», к. 2, с. 32). Всечувствие всего зараз в лоне исторического роста — вот где пафос творческой природы Розанова. Переживание зараз «затягивает» душу: «У меня есть затаенность души: «событием» я буду — и глубоко, как немногие — жить через три года, через несколько месяцев после того, как его видел. А когда видел — ничего решительно не думал о нем. А думал (страстно и горячо) о том, что было еще три года назад. Это всегда у меня, с юности, с детства» («Уед.», с. 32). Знаменательный штрих: видит — и не думает; думает — а виденное далеко (в прошлом). Погружен в себя необычайно: отсюда — его субъективность до потери чувства реальности. Все время слушает только себя: — и не может слушать только других (—устное свидетельство Н. А. Бердяева); все время «читает» только себя: — и не может читать других (—свидетельство устное Н. А. Бердяева); или же: читает начало произведения, рассматривает некоторые обрывки, «нюхает»: — обоняние остро и сильно развито (—устное свидетельство Н. А. Бердяева и письменное заявление самого Розанова). И понятно: — «Я наименее рожденный человек, как бы еще лежу (комком) в утробе матери (ее бесконечно люблю, т. е. покойную мамашу) и «слушаю райские напевы» (вечно как бы слышу музыку, — моя особенность). И отлично! Совсем отлично! На какой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я сам (в себе, «в комке») бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен, точно мне 1000 лет, и

вместе — юн, как совершенный ребенок» («Уед.», с. 34—35). Поразительный феномен: живет в лоне матери, как будто не вышел из утробы: отсюда — погруженность в себя, вечная страсть в вечной юности, затемнение безобразного в «без-образном», веселость, ирония по отношению ко всему, даже — к себе.

Тут мы вплотную подошли к разгадке «феномена Розанова» (— есть такой феномен!). По формуле Вейнингера, гений — наивысшая индивидуальность, непохожая на других; он же — наивысшая универсальность: может стать потенциально и «этим» и «другим» — «все» (— обратный полюс идиотства). Розанов — еще в «утробе», он «еще не родился», он живет в текучести материнского лона, — эмпирически он безобразный, метафизически он просто «без-образен»: безликий; в нем нет индивидуальности. И тем не менее, или благодаря может быть этому, ему дано гениальное всечувствие, творческое проникновение решительно во все: он понимает «и это и другое» — ибо он и «то» и «другое». Нам понятна теперь «спутанность» его души, где «грязь» уживается с «нежностью» и «нежностью» с «грустью». Известно, что он писал и в «правом» издании («Нов. Вр.») и в левом («Рус. Сл.»), под псевдонимом — В. В. Варварин: (жена — Варя). Был избалован. И что же? «Правда, я писал одновременно «черные» статьи с эс-эриными. И в обеих был убежден. Разве нет одной сотой истины в революции? И одной сотой в черносотенстве?» («О. Л.», к. 2, с. 160). И так — всюду: он безличен по человечески, но зато нечеловечески всемирно. В этом — его тайна. Этим же объясняется и его нечеловеческая или подчеловеческая обнаженность (одна из острых проблем Ницше): он разрушил все «интимное», обнажил себя, стал ходить «нагишом»: («Уединенное» и «Опавшие листья»). И это ему легко необычайно: по существу он безличен, — и какой бы лик он ни показывал, это будет все же не «он», — «сам» (где-то — в «утробе» «комок») ухмыляется, дьявольски иронизирует.

Феномен Розанова в текучести «утробной» жизни. Отсюда: ритм его существа — пол: в поле и через пол открывает он себя, — ибо сам пол — текучая безличность. Пафос его — чувство рода; тонос его — чадорождение. Тут Розанов — вполне «сам», единственный, неповторяемый во всей всемирной истории. Отсюда — его пристрастие к Библии: «Библия местами переходит прямо в исчисление рождений, в необозримую генеалогию, ветвление и ветвление человека. Это какой-то «дуб мамврийский», — так и хочется исправить «дубрава мамврийская»,

и шумящий в ней священный ветер. Индивидуум всегда в ней взят в точке счленения с «суком», на котором сидит; и вся нота внимания остановлена на точке тех новых возможных «счленений», где от него выбежал или мог бы выбежать свежий лист» («Из восточных мотивов», стр. 28). С чувственным наслаждением цитирует он (ibid., с. 62) слова пророка Иезекииля (гл. 16), где, по Розанову, утверждается брачное отношение Бога к Израилю: «Я (Бог) проходил мимо тебя (Израиля) — и вот было время твое, время любви. Ты достигла превосходной красоты — поднялись груди и волосы у тебя выросли. И простер я поскрылия мои на тебя, и покрыл наготу твою; и поклонился тебе, и вступил в связь с тобою, — говорит Господь Бог — и ты стала моею... Но ты понадеялась на красоту свою и, пользуясь славою твоею, — стала... с сынами Египта... с сынами Ассира... в земле Ханаанской, до Халдеи». Чтили Господа, но поклонялись Астарте — вот по Розанову мирочувствие евреев; и если «Астарта» у них называется «мерзостью», — то это только «так», по имени, — это только гневное слово ревности к «чужим» (не евреям), а среди «своих» ею дышет весь Израиль. Но такая мистическая брачная связь именно порождает святость подлинную. «Восток развился «семенно» до ощущения святости и, наконец, до ощущения прямо небесности, тенстичности в акте созидания самого «лица человеческого» (ibid с. 46).

Розанов до осязательной конкретности влюблен в юдаизм за его пантеистический эротизм: «что юдаизм есть религия семени — и не более, семени — и только, семени — и не иначе. Что все, что он «делает», мицвы и проч., — все, что он читает, молитвы и проч., — все только окружает и только охраняет «созревшее к 13-ти годкам семя мальчика», и не будь бы его — не было бы их, а раз оно есть, зреет в каждом, формируется во всяком, то вот седые и мудрые евреи, с Моисея, Авраама, а в сущности еще с Египта и в Египте впервые — сотворили все эти мицвы, — эти или подобные, и вообще какие угодно все равно... То, что у нас в Европе называется в один век «готикой» и «рыцарством», а в след. век называлось «гуманизмом», а теперь называется «школой и конституцией», то в юдаизме от Мемфиса и Вавилона до Вильно и Белостока именуется без перемен одним именем: «мальчик 13 лет», — и весь Израиль начинает точно кричать около него, плясать, скакать, пировать, — сходит с ума, безумствует, напеваает мурмолку и снимает мурмолку, что-то бормочет; а вслушавшись в бормотанье, мы бы услышали: «для таких-то

мальчиков и сотворен мир»... Воистину — это Анис и год избрания его на царство» (ibid., с. 68—69). Само «обрезание» принимает у Розанова антропологический (в плане мистическом) смысл: оно — подлинное обручение («крик Сепфоры: «жених мой по обрезанию!»). Что для нас — «нос», то для евреев — «обрезание». Отсюда: «Арийцы суть племя логического выражения; скажем полнее: они выражают в истории второе лицо человека, — отраженной, лунной природы» (ibid., с. 41): — везде порядок «слова», а не жизнь бытийного родника. Отсюда: слабость арийцев и вечность хамито-семитов. Последние, даже в период упадка, — «не несут, типичного в арийской расе смерти, разложения и трупного запаха: никаких морщин старости, утомленных мускулов; ни Weltschmerz, «мировой скорби», ни «социальной анархии». Жизнетворцы «по вечным, великим законам», они в самом нерве бытия исключили идею смерти, — «не принимают идеи небытия», как выразился в «Федоне» Платон о бессмертии души. Напротив, у арийцев внесено жало отрицания в самый родник бытия, и это «жалящее отрицание» пульсирует в их жилах. Арийцы живут в смерти и поклонились гробу (ibid., с. 74).

Такова мистическая концепция Розанова. Отсюда — его отношение к христианству: «Во Христе мир прогорк» (см. изумительную статью «О сладчайшем Иисусе и о горьких плодах мира»: Рус. М., 1908, № 1). В этом афоризме выражена гениально просто страшная мысль Розанова. И не даром высказал боязнь Д. С. Мережковский: для христианства Розанов, пожалуй, опаснее Ницше. Ибо, — если уж мир прогорк во Христе, — а сам-то мир в его «чадородии» прекрасен и волшебен, — (интересно, что, по Розанову, в Ветхом завете нет идеи загробной жизни, — ибо жизнь подлинна в этом мире) — то отсюда языческий шаг к отрицанию Христа. Но это предмет особого изложения.

Своей концепцией Розанов объясняет положительно все. Взять хотя бы чрезвычайно интересную «проблему Гоголя». Розанов утверждает, что у Гоголя не было физиологического расположения к женщине. И что же? «Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о «покойниках». «Красавица (колдунья) в гробу» — как сейчас видишь. «Мертвецы, поднимающиеся из могил», которых видит Бурульбаш с Катериной, проезжая на лодке мимо кладбища, — поразительны. Тоже — утопленница Ганна». И, главное: у Гоголя живые — куклы, схемы пороков, а покойники прекрасны: «индивидуально интересны». Это «уж не Собакевич-с». И еще важнее: у него нет

мужских поклонников; наоборот: «Он вывел целый пансион покойниц, — и не старух (ни одной), а все молоденьких и хороших». Отсюда: половая тайна Гоголя — в «прекрасном упокойном мире» («О. Л.», к. 2, с. 156), — заключает Розанов. И так — решительно обо всем.

«Стиль — душа вещей», пишет он. Может быть, ни одна «вещь» не выражена ни в одном «стиле» так душевно, как «вещи» Розанова — в его «стиле». Это — что-то безумно интересное. Розанов мыслит полом — и стиль Розанова подлинный плод пола: тут нет ни мраморных очертаний, ни бронзовых ваяний: тут только плоть в ее чувственной конкретности. Пол — «зачарованный лес» (по Розанову): и стиль Розанова — чарования леса: все эти «оглядки», «окружения», «ужимки», «нажимы», «курсивы мысли», «скобки нашептываний», «тире вставок», «намекы» — «чуть чуть», «период напряжения», и многое-многое другое — все это свидетельствует о необычайном писательском таланте Розанова.

Стиль Розанова ждет своего исследователя. По силе «выражения», по тону «изображения», по темпераменту «передачи» — Розанов в русской литературе не имеет себе равного. И еще поразительна вместимость его словесных форм, куда с легкостью переливается все то «тайное», «безмолвное», «не сказанное», «интимное», которого другие не рискнули бы даже упомянуть в намеке. Поистине так же феноменален стиль Розанова, как и сам Розанов.

Андрей Белый

«Три книги сопровождают меня:
«Евангелие», «Заратустра» и «Гоголь».

Андрей Белый.

I.

Постигнуть тайну поэта — значит найти индивидуальный ритм его творческой души. Ритм души можно выявить на отношении поэта к земле: каково у поэта чувство земли, таков и жизненный ритм его поэтической личности. В определениях художественной характерологии означенный момент исключительного значения. Но что разуместь под образом Земли? Вещи, Время, Хаос: вот три очертания ее. «Вещи»: мы видим: что-то возникает, растет, зреет, крепнет; мы видим, что оно тлеет,

разлагается, распадается, исчезает: — в бесконечном потоке значит мы воспринимаем вещи. Поток этот в извилинах внутреннего сознания представляется нам, как «время»: ибо вне процесса — вне роста и распада, вне возникновения и исчезновения, времени нет вовсе. В этом могут быть согласны тайновидцы этого феномена: Плотин, Кант, Бергсон. И так: перед нами вещи во времени. Но есть и третья сфера: Хаос. Это: то темное, безликое, без-образное, из которого что-либо возникает, как «вещь». Хаос — таинственная грань бытия и небытия: «хаотическое» не есть еще, но оно может стать: оно — так называемое «не-сущее» древних, — но не в смысле полного отрицания сущего, а в смысле семенного несения последнего в темном лоне Первоединого. Словом: вещи во времени и под ними хаос — вот что вырисовывается в очертаниях образа Земли.

Отношение к Земле у поэтов бывает разное. В первую группу я поставил бы поэтов, влюбленных в Землю. Для них она — великая мать, «Богородица великая мать сыра земля есть», — передает слова одной старицы хромоножка Мария Лебякина у Достоевского (— «Бесы»). Их отношение к Земле — эротическое (в античном смысле этого слова). «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, нищи восторга и иступления сего», — говорит старец Зосима у того же Достоевского (— «Братья Карамазовы»). Влюбленные в Землю поэты любят ее «плоть»: каждый ее отрезок, каждый ее слепок. Художественный гений древней Эллады пластически выразил эту влюбленность в образе Афродиты: — из пены морской родилась Богиня: сколько эротизма в восприятии тела земли! — тут белопенность в изумрудных струях переливается и отвердевает в мраморно-очерченной плоти. И конечно, слова Гомера к Гее (Земле) — подлинныя слова любви: «Ты плодovitость, царица, и даешь плодородье... Блажен между смертных, кого ты благословеньем почтишь: в изобилии все он имеет; тяжкие гнутся колосья на ниве, на пастбище тучном бродят бесчисленные стада, и благами дом его полон... Девушки, — «в хоровах крутясь цветоносных, нежные топчут цветы на лугах и ликования светлом... Радуйся, мать богов, жена многозвездного неба» (Перев. В. Вересаева; альм. «Творчество»). И культ Деметры — культ Земли: Деметра — душа созревшей нивы; утверждается жизнь Земли: зерно не умирает, оно плодится; пиршествует ее рост: в колосьях созревающей нивы слышится дыхание Деметры. Эта влюбленность в тело Земли рождает у поэтов любовь к вещам, ко всем вещам, даже к самым ма-

лым. «Время» не ложится тяжелым бременем на их сознание; наоборот: в самой текучести времени они усматривают рост, созревание, цветение вещей. Не страшен им и «хаос»: в нем они чувствуют праматерное лоно всякого бытия, — хоть и темное и безликое, но все ж «родимое» и родное. Отсюда: необычайная страсть таких творцов к оплодотворению, к рождению, к воплощению, к оформлению; отсюда же: исключительная стройность, солнечная освещенность их душевного ритма — «светлое ликование» Гомера. Таковы творцы: Гомер, Тициан, Гете, Пушкин, Толстой. Среди молодых могу назвать Сергея Городецкого начального периода. Интересно отметить, что у Пушкина нет Тютчевского страха перед «хаосом»: он учит его темный язык.

Возможно и другое отношение к Земле. Есть творцы, которые Земли не любят вовсе. Иные из них подчас и отвращение питают к ней. Их мрачный взор обращен исключительно на разложение и распад вещей: всюду для них — тление, гниение, смерть. Плоть земли их не радует вовсе: они ее и не чувствуют, или, если чувствуют, то только как язвенный труп. Им понятно искажение лица Земли, то самое, которое мы видим иногда в корчах тела в минуты ее трясения. Время их давит своей нескончаемостью: оно рождает в их сознании неземную «скуку»: нет вечности разрешенной, — а есть только «закоптелая баня с пауками» (— слова Свидригайлова у Достоевского) — или: вечность как «паук в пауке» (Ницше), — или: время в сплине и пауки (у Бодлера), — или: просто течение явлений, а по окнам ползают пауки (у Маллармэ). Всюду — паучья сеть: скука неземная. «О, скучно на этом свете, господи!» — кричит один из таких поэтов. Они не любят твари и тварности; в твари и тварности видят они не благодать вовсе, а лишь одно проклятие. И манит их в темную бездну Хаос; только не для рождения танцующей звезды (— как властно жаждал Ницше), а для провала в небытие, в окончательное безумие. Понятен и способ их творческого выражения: вместо воплощения — развеществование, вместо оформленной плоти — геометрический скелет, вместо зрелого плода — отвратительные чудовища. К таким творцам принадлежат: Гоголь, Гойя, Пикассо, отчасти Бодлер.

Таковы две группы поэтов. Если в это разграничение внести апокалипсический момент, получатся две другие параллельные группы. Есть творцы, тоже влюбленные в плоть Земли, — в ее оплодотворение, в ее рост, в ее цветение; но во всем этом они провидят и другое: «дальнее»: — видение, что долж-

но стать наконец пластически оформленным: сонная греза, что должна принять окончательную плоть; они видят вещи, но провидят через вещи иные вещи: «новое небо и новую землю» — вещи существующие для их сознания — только «вещей обличение невидимых». Они любят плоть Земли, но Земли преображенной; но нет у них нелюбви к плоти существующей Земли: ибо в ее семени заложена ее будущая плоть. Для них Земля — Душа мира, София, вечная женственность: и ждет она оплодотворения от Солнца и рождения от Вечности. Они не ощущают тяжести времени с ее неземной скукой, — но чувствуют напряженно, что вот-вот время остановится вдруг и наступит «вечная гармония» Кириллова Достоевского в преображении Земли (—ибо «человек не может выдержать, не переменявшись физически»). Поэтов с апокалипсическим ритмом души особенно много в России, в стране, по существу катастрофической. Владимир Соловьев, Достоевский, Мережковский, Блок — поэты данного порядка. В выжженных пустынях Египта видел Соловьев Ее, безымянную (Душу мира; Землю) и закрепил это видение поэт в мягких линиях лунного созерцания, — а в «Трех разговорах» он поистине заговорил факельным языком св. Иоанна. Достоевский — сплошная стихия Апокалипсиса; но ритм его души не может быть исчерпан последним; в его душе слышится скорей симфонический перебой ритмов многих. Мережковский является мистическим архитектором апокалипсических конвульсий. Блок разрешил Ее (—Землю) в Прекрасную Даму: он — рыцарь ее и в утонченной влюбленности в нее воспринимает он ее до чувственно-конкретных прикосновений. Я бы назвал тут и имя Брюсова, — но его «Конь Блед» только «тема», (а не ритм) его души, хотя и мастерски разрешенная.

Возможен и другой тип поэта с апокалипсическим ритмом души. Он тоже всецело от Апокалипсиса, — но ритм его души проходит не через любовь к плоти мира, а через отвращение к телу Земли. Он принадлежит к группе творцов, не любящих Землю; но в то время, как последние в своей нелюбви к Земле останавливаются на разложении предметного мира, означенный поэт нелюбовь к Земле разрешает в окончательное испепеление ее. Он близок к поэтам-апокалиптикам; но в то время, как последние жаждут «нового неба и новой земли» через любовное преображение плоти мира, означенный поэт волит, чтобы «новое небо и новая земля» явились через яростное испепеление плоти того же мира. Этим поэтом является Андрей Белый. Не даром он выбрал такой псевдоним: «Белый» — образ апокалипсический... «новое имя, которого никто не знает,

1917
3122-1110933

кроме того, кто получает»; оно начертано на «белом камне» души; «Андрей»: невольно является мысль о «первозванности» (— Андрей Первозванный). Андрей Белый действительно оправдал свой псевдоним.

II.

«Нет никакой раздельности. Жизнь едина. Возникновение многого только иллюзия. Как бы мы ни устанавливали перегородки между явлениями мира — эти перегородки не вещественны и немислимы прямо. Их создают различные виды отношений чего-то единого к самому себе. Множественность возникает, как опосредствование единства, — как различие складок все той же ткани, все тем же оформленной. Сорвана вуаль с мира — и эти фабрики, люди, растения исчезнут; мир, как спящая красавица, проснется к цельности, тряхнет жемчужным кокошником; лик вспыхнет зарей; глаза, как лазурь, ланиты, как снеговые тучки; уста — огонь. Встанет — засмеется красавица. Черные тучи, занавесившие ее, будут пробиты ее лучами; они вспыхнут огнем и кровью: обозначится на них очертание дракона: вот побежденный красный дракон будет рассеян среди чистого неба» (Апок. в рус. поэзии; сб. «Л. З.»). Таково мироощущение Белого: и он стремится всюду и всегда перешагнуть за грань оформленного: «Есть тайная связь всех тех, кто перешагнул эту грань оформленного. Они знают друг друга» («Луг зеленый»: статья того же названия). Итак: бытие для Белого призрачно: грани бытия не вещественны и немислимы вовсе: они — лишь обманчивые складки волшебного покрывала лучистой Майи. Оформленность — призрак: грань оформленного надо перешагнуть. Отсюда нерасположение Белого к Земле: оформленность Земли — плоть Земли. Он не знает той любви к Земле, которую испытывает к ней Пушкин; он питает к Земле нелюбовь к ней Гоголя; в отличие от Гоголя, он жаждет апокалипсического разрешения Земли; но жаждет опять не желаньем Блока: через преобразование все той же плоти, — а страстным хотением испепеления ее до тла; и там, где Блок говорит: «О, Русь моя, жена моя!» — Белый скажет: «Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!». В конце концов, Андрей Белый — тот же Гоголь, но только с огненным взором Апокалипсиса. И сумрачность Гоголя еще более обостряет его апокалипсический темперамент. Пишет ли Белый, говорит ли Белый (— я слышал его только раз в Париже в 1907 г. на лекции Мережковского), — ощущаешь всегда какую-то жуть:

чувствуешь, что вот-вот остановится для его сознания время и «красный дракон» рассеется в пыль. Пишет ли Белый, говорит ли Белый, — ощущаешь всегда, что вот-вот запылится, оборвется его речь, залепечет он, засмеется он смехом безумия и уйдет он бесповоротно в мрак Хаоса. Пишет ли Белый, говорит ли Белый, — ощущаешь всегда то благодать «священного безумия» (— благодать сошествия св. Духа), то проклятие «неправого безумия» (— ужас строения Вавилонской башни). Андрей Белый — настоящий эпилептик от Апокалипсиса. Недаром так гениально передана Достоевским эпилепсия, как болезнь священная, дающая возможность «касания мирам иным», на христиански-дионисическом образе князя Мышкина и на жертвенном безумии Кириллова. Так и кажется иногда, что Андрей Белый — князь Мышкин весь, безумствующий словами Кириллова. Апокалипсический эпилептик, он потому так страстно отдается безумным глаголам темно-ликого Хаоса. Эти глаголы слышатся в его «Симфониях», — где он силится при помощи напряженного словесного контрапункта обуздать их яростное безумие, — слышатся они и в его стихах, — где испепеленная душа его с неземной тоской несется бескрылая по выжженным родным раздольям.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Не смейтесь над мертвым поэтом
Снесите ему венок,
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

Цветы на нем побиты,
Образок полинял,
Тяжелые плиты:
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.

Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.

Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.

О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —



Вернусь... («Друзьям», 1907 г.).

«Отчаяние» (1908):

Довольно: не жди, не надейся —
Развейся мой бедный народ!
В пространства пади и развейся
За годом мучительный год.

Века нищеты и безволя!
Позволь же о, родина-мать,
В сырое, пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать.

Туда, на равнине горбатой,
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой
В косматый свинец облаков,

Где по полю Остороп рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом, —

Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие желтые очи
Безумных твоих кабаков, —

Туда, где смертей и болезней,
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни
Россия, Россия моя!

III.

«Гоголь оторвался от того, что мы называем действительностью, — пишет в своей замечательной статье Андрей Белый о Гоголе (Луг Зеленый). Кто-то из под его ног выдернул землю; осталась в нем память о земле; земля человечества раз-

ложилась для него в эфир и навоз; а существа, населяющие землю, превратились в бестелесные души, ищущие себе новые тела: их тела — не тела: облачный туман, пронизанный месяцаем; или они стали человекообразными редьками, вырастающими в навозе». Посмотрим: не так же ли оторвался Белый от земли. В 1909-08 годах Андрей Белый пишет первую часть трилогии «Восток или Запад» — роман «Серебряный Голубь». Он подошел тут к матери-земле, подошел к России, подошел подлинно. И увидел он в ее материнском лоне темную стихию варварского дионисизма: «Голуби» — это секта хлыстов, в ночных, религиозно-половых радениях ищущих рождения «Младенца». Вдруг, в шуме неистовых кружений и половых восторгов, — где темная стихия безликого пола утверждает себя в мучительно-сладостных касаниях незнающих лица друг друга участников оргазма, — вдруг «накатывает дух» и рождается «просветленный юноша — дитя». Среди них царит хлыстовская богородица, рябая баба Матрена. Поэт Дарьяльский идет к ним. Он погружен весь в мир древней Эллады, где темнотикий и многоликий Дионис пиршественно утверждал себя, — и снится ему, что хлыстовские радения по существу то же, что и дионисические исступления: «мнилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу родная и еще жизненно не пережитая старинная старина — древняя Греция». Дарьяльский влюбляется в Матрену какой-то темной любовью. «Рябая баба Матрена» — это внутренняя тяга хаотической земли. Образ ее поистине страшен и притягателен. Андрей Белый, который, подобно Гоголю, совершенно не властен передать живую плоть женской половой психики, в образе Матрены дает на фоне русских оврагов (—о, как их чувствует Белый!) неслыханную влажность мистически осознанной безликой половой стихии земли. Матрена — не красива: она рябая (—в этом сказалась нелюбовь Белого к плоти, к «оформленности»); но под рябинами ее лица струится волевой взгляд, манящий и зовущий в темное лоно земли. Дарьяльский устоять не мог: он полюбил Матрену. Но Матрене нужна безмерная любовь, любовь солнца: покоряющая и проникающая, могущая овладеть женской стихией до конца, любовь, несущая светоносное семя подлинного оплодотворения. Такую любовь Дарьяльский не может дать Матрене — и он гибнет: его убивают. В этом ритм романа. Темная стихия остается недоленной и не осветленной: остаются: — «ужас, петля, яма: не Русь, а какая-то темная бездна востока прет на Русь из этих радением истощенных тел».

Итак: Андрей Белый не победил темной стихии Земли. Он ушел от нее: ушел так же, как ушел и Гоголь. «Русь! Чего хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?» («Мертвые души»), — преследует Гоголя Русь, «мать сыра земля». Так же преследует Русь Белого в образе Петербурга: «Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговой игрой: ты — мучитель жестокосердый; ты — непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинающийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали — повосстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край действительность, и что он — та воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков». В ответ на это преследование Белый дал вторую часть означенной трилогии — замечательный роман «Петербург» (1911—1913 гг.).

Оторвавшись от Земли, Белый Русь превратил в призрак. Гоголь питал отвращение к Земле и рождал безобразные чудища: всюду — «рыло»: то «редька», то просто «зверье», Андрей Белый пытался подойти к Земле, — но, не имея сил солнечно ее оплодотворить, отвернулся от нее и начал выбрасывать астральные выкидыши. Сперва об его отвращении к плоти. У провокатора Липпанченко дубоватые пальцы с обгрызанными ногтями; он — жирный хохол, но на хохла не похож вовсе: какая-то помесь семита с монголом; он высок и толст; желтоватое лицо его неприятно плавает в собственном подбородке, выпертом крахмальным воротничком; голова его — голова недоноска; «чей-то хиленький мозг оброс ранее срока жировыми и костяными наростами»; террорист Дудкин заходит к нему — и вот картина: «вовсе к столику принагнулась квадратная голова (над спиной виднелся лишь крашеный кок), подставляя широкую мускулистую спину с, должно быть, невымытой шеей; спина как-то выдавалась, подставляясь взору; и подставлялась не так; не прилично, а... как-то... глумливо»; и далее: «безликой улыбкой повыдавилась меж спиной и затылком жировая шейная складка: точно в кресле там засело чудовище; и представилась шея лицом; точно в кресле засело чудовище с безносою, безглазою харею; и представилась шейная складка — беззубо разорванным ртом». Беззубая, безносая харя, — жировая шейная складка — точно беззубо разорванный рот, — это ли не с па-

литры Гоголя?? И еще: Аполлон Аполлонович Аблеухов: рачья шея с оттопыренными ушами; его сын Николай Аполлонович: — лицо «богоподобное», но в то же время как будто и «лягушонок». Таково ощущение плоти у Белого. Отвращение к телесности у него переходит в какое-то омерзение к самому органу всего плотского, к полу: Николай Аполлонович полюбил Софью Петровну, но полюбил в нем не бог, а «лягушонок»; Софья Петровна полюбила Николая Аполлоновича, но так, что «ангел» в ней полюбил в нем «бога», — а «бабенка» в ней полюбила в нем «гаденькую улыбку», т. е. «лягушонка» (— сначала возмущалась этой улыбкой, а потом полюбила само возмущение). Словом: в художественном сознании Белого пол носит в себе что-то гадливое, отвратительное: нет в нем святости и девственности Земли; — омерзительным выведен акт зачатия Николая Аполлоновича. Но это еще ничего. В своем отвращении к плоти Земли Андрей Белый доходит до отвращения к родному, к естеству. Это исключительное ощущение доведено Андреем Белым до предела в изумительной сцене: Аполлон Аполлонович уронил карандаш; Николай Аполлонович нагнулся его поднимать; А. А. бросился его упреждать; споткнулся; Н. А. схватил его — и увидел «желтую жилватую шею отца, напоминающую выцветший рачий хвост (сбоку билась артерия)»; и далее: «теплая пульсация шеи испугала его, и отдернул он руку, но — поздно отдернул: под прикосновением его холодной руки (всегда чуть потевшей) А. А. повернулся и увидел — тот самый взгляд». Т. е., — добавим мы: взгляд отвращения, пускающего смертоносное жало. Омерзение к естеству дальше этого пойти не может. Тут в нелюбви к плоти Андрей Белый превзошел самого Гоголя. Земля еще мрачнее выдернулась из-под его ног.

V.

У Гоголя: ...«чувства стали уже не человек, а каких-то еще невоплощенных существ, — пишет Белый в той же статье о Гоголе, — летающая ведьма и грязная баба; Шпонька, описанный как овощ, и Шпонька, испытывающий экстаз, — несоединимы; далекое прошлое человечества (зверье) и далекое будущее (ангельство) видел Гоголь в настоящем». Но если Гоголь разложил людей на «зверье» и «решье» (— слова Белого), то Белый разложил людей на астральные флюиды: — и предметы тоже. В своей нелюбви к плоти Земли он пошел так далеко, что совершенно разрушил физический

план бытия и перевел бытие в астральные сферы. Так, например, Николай Аполлонович, запершись на ключ в комнате и продумывая силлогизмы своих мысленных построений, чувствовал тело свое пролитым во «вселенную», т. е. в комнату; голова же этого тела смещалась в головку пузатенького стекла электрической лампы под кокетливым абажуром»; далее: «старый сенатор (А. А.) перед отходом ко сну ощущал, будто смотрит не он, «а нечто», засевшее в мозг и оттуда из мозга глядящее»; еще: Н. А., лишившийся тела, все же чувствовал тело: «некий невидимый центр, бывший прежде и сознанием и Я, оказался имеющим подобие прежнего, испепеленного: предпосылки логики Н. А. обернулись костями; силлогизмы вдруг этих костей завернулись жестокими сухожилиями; содержание же логической деятельности обросло и мясом, и кожей; так Я Н. А. снова явило свой телесный образ, хоть и не было телом; и в этом не теле (в разорвавшемся Я) открылось чуждое «я»: это Я пробежало с Сатурна и вернулось к Сатурну»; не надо быть особенно посвященным в теософию, чтоб видеть, что тут это второе тело Н. А. является так называемым «астральным телом» (—своего рода Демокритовская «оболочка», хранящая от разрушения тень вещей: двойник); или еще: террорист Дудкин видит сон, будто его дырявая туфля есть живое создание: «комнатное создание, что ли, как собачка или кошка; она самостоятельно шлепала, переползая по комнате и шурша по углам»; словом: всюду — разложение физического плана в астральный план: вместо плоти — флюид, вместо земляного тела — астральный выкидыш.

В связи с астральным мироощущением у Белого замечается какая-то тягость от «пространства» в плане физическом. Почти все его герои страдают боязнью пространства. Эту боязнь Белый находит у русского народа вообще: «русский народ еще доселе в пространствах умеет видеть нечистую силу: разные бесы? в холодных, голодных, в бесплодных наших степях» (Луг зеленый; статья: Настоящее и будущее русской литературы). Он же дал изумительный образ бродяги, где роль определительного рисунка играет пространство: «в родную деревню, пространствами стертый, бредет»... С ощущением астрального связано у Белого и чувство времени: в единицу времени у него протекает бесконечный и громадный ряд событий; события в «Петербурге» изложены в 663 страницы и протекают они в 24 часа с лишним. Острое чувство времени у Белого разрешается в «безвремяе»: ибо, если допустить, что в единый миг

пролетает вечность, то времени нет уж больше: — еще один штрих апокалипсического мироощущения.

еще один
3041935340
30320110330

VI.

Но в чем содержание самого романа? Николай Аполлонович, сын сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, опрометчиво связал себя обещанием перед революционной партией. Террорист Дудкин дает ему на хранение «сардинницу ужасного содержания» (бомбу с часовым механизмом). Липшанченко, член одновременно и революционной партии и «охранки», требует от имени партии анонимно, чтобы сын (Н. А.) подложил бомбу отцу. Больной Дудкин догадывается о провокации и в припадке безумия убивает Липшанченко. Но Н. А. уже завел часовой механизм бомбы, — а отец его, ничего не подозревая, случайно занес бомбу в свой кабинет. Узнав обо всем, сын в ужасе ищет «сардинницу», — но не находит. Ночью взрывается бомба в пустом кабинете. Происходит нечто страшное: отец думает, что сын хотел его убить, — а у сына нет возможности доказать ему противное. Вот вся фабула романа.

Это не сюжет в строгом смысле слова: это скорее сомнамбулическое разрешение полагаемого сюжета: и потому так «бессодержателен» он и в то же время так тягуче длинноват. Настоящим героем романа является сам Петербург (— это одно нечто исключительное во всемирной литературе): город магический, вызванный Петром из финских болотных туманов, — город, в дыхании которого почувствовал Пушкин «Медного Всадника», — город, на фоне которого разрешал Достоевский гениальное воспаление своей фантазии, — город, где, по слову Ницше, такие вещи, о которых не снилось даже артистически-нервному Парижу, — город, фантастичнейший из всех городов земного шара. Бредит Петербург, бредит о чем-то великом, мировом, катастрофическом, — и заодно с ним бредят его герои: бредят все о том же. Оттого последние не люди вовсе: «Род ублюдочный пошел с островов — ни люди, ни тени, — оседая на грани друг другу чуждых миров. Они — тени Петербурга: оттого так часто переходят они друг в друга: бредят общим бредом». Аполлон Аполлонович, напр., бредит думой своего сына; Николай Аполлонович — думой своего отца. Но в этом бреде Петербурга есть железная стройность. Недаром автор сообщает: «Пирамида — бред геометрии». Геометрически очерчена пирамидальность Петербургского бреда.

Но в чем суть этого бреда? В мировом нигилизме, который должен дать Петербург миру; нигилизм этот — последняя фа-

за вселенной накануне ее апокалипсического испепеления. В самом деле: Петербург — «праздная мозговая игра»: «это только кажется, что он существует»: Петербург — призрак. Точно такой же природы его герои. Аполлон Аполлонович — бюрократ: для него все нумерации: «по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена», в кубках и квадратах решается для него все многообразие жизни. Он реакционер, — и потому в существе своем нигилист до конца. Но таким же нигилистом по существу является и его сын (Николай Аполлонович) революционер; он призван только разрушать. Вдобавок он — кантеанец; более того, он — когенианец. Кант превратил весь мир в гносеологический призрак, где само человеческое «я» является одним из явлений (— только «явлений») в ряду других явлений; Коген превратил кантианство в «мозговую игру» схоластики, где вместо жизнедейственного Эроса слышен лишь костлявый шум высушенной логики; и понятно: Николай Аполлонович «Самому себе предоставленный центр, серия из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих все — душу, мысль». По существу и он значит нигилист. Но это еще ничего. Реакционера-отца и революционера-сына объединяет общность происхождения от дальнего монгольского предка, Аб-Лай-Ухова; а монгольская стихия, по сознанию Белого (частичное наследие от Вл. Соловьева), нигилистична в самой крови. Осознание нигилизма в монголизме происходит в Николае Аполлоновиче в момент «нульсации стихийного тела»; мысленно допустив убийство отца, Николай Аполлонович астральным телом своим почувствовал, что время вернулось обратно: он видит «преподобного монгола» (туранца — своего предка): и вспомнил он, что этот монгол он сам и есть на самом деле: он «воплощался много раз; воплотился и ныне: в кровь и плоть столбового дворянина Российской империи, чтоб исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: расшатать все устои; в испорченной арийской крови должен был разгореться «Старинный Дракон» и все пожрать пламенем».

Такова композиция романа: Петербург — загадочный призрак; он — символ призрачной Земли; там проложит путь Дракон при помощи нигилизма; там же произойдет схватка Дракона с Христом. Метафизический идиотизм (— нигилизм Духа) воплощен в романе в образе какого-то персидского ублюдка Шишнарфиз; Христос явлен в образе «кого-то печального и длинного»: борода его «будто связка спелых колосьев»: и «свет струится так грустно от чела его, от его костенеющих пальцев». Но в романе схватка эта — только намек: (—вспом-

ним бред об Откровении Дудкина и Николая Аполлоновича); она вся — в линии будущего.

Таким образом: Андрей Белый в образе Петербурга дал апокалипсическое (— и притом через испепеление) отрицание земли.

VII.

Но интересно знать, каково отношение автора к создателю Петербурга, медный призрак которого является в романе не менее активным лицом, чем сам Петербург. Прежде всего послушаем страстное слово автора: «С той чреватой поры, как примчался к Невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский гранит, на двое разделилась Россия, на двое разделились и самые судьбы отечества... Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей — будет; великое будет волнение; рассеется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится. Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет — брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет, будет Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово поле, я жду тебя! Воссияет в тот день и солнце над моею родною землей. Если, солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся ко дну океанов — в прародимые, в давно забытые хаосы... Встань, о Солнце!..» В этих словах ясно — Петербург опустится: ибо он нигилистичен в корне. Но отрицать просто его — нельзя: на двое разделились в нем судьбы России (— и следовательно: судьбы мира). Петербург, как загадочный предмет выявления чего-то значительного, мирового, не есть просто призрак: он в то же время действенный символ — в этом его значительность. Отсюда — некоторое двойственное отношение к нему автора. Этим отношением может быть выяснено до некоторой степени и его отношение к творцу Петербурга: Петр загадочен в романе. С одной стороны, он ведет Дудкина убить Липпанченко; а с другой — убийца является карикатурой его: убив провокатора ножницами, Дудкин «на мертвеца сел верхом; он сжимал в руке ножницы; руку эту простер он...; усики его вздернулись кверху». Впрочем: трилогия еще не кончена.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЛЮБВИ

ТВОРЧЕСТВО Тариэла Чантурия содержит в себе несколько стиливых потоков. Они представляют собой языковое отражение различных периодов, языковую фиксацию разных настроений. Пожалуй, ни один из современных грузинских поэтов не создавал стихов, столь различных по манере и тональности. Поэт убежден в том, что нельзя всегда быть в одном настроении, всегда стремиться к одному и тому же, всегда разрабатывать одну и ту же мысль. Человек, как и окружающий его мир, подвержен изменениям. Поэт — выразитель этой изменчивости. Идеалы двадцатилетнего юноши значительно отличаются от взглядов человека сорокалетнего. Причем эволюция этих взглядов отнюдь не означает их улучшения. Каждый возраст имеет свою прелесть и свою красоту, главное, чтобы человек понимал и ценил это.

Именно в этом — один из истоков метаморфозы лирики Тариэла Чантурия.

Со временем меняется не только человек, но и сама действительность. Каждая эпоха, каждое десятилетие и даже каждый год приносят с собой нечто новое и неповторимое. Особенно сильно это чувствуется в нашу эпоху. Научно-техническая революция с необычной быстротой меняет формы и способы человеческих взаимоотношений. Поэт отображает в своем творчестве не только субъективные переживания, но и чужды, которыми живет народ, которые созвучны его духовной жизни.

Поэтому вторым истоком упомянутой выше метаморфозы является переживание эпохальных явлений, ощущение времени.

Однако в вихре идей и эмоций художнику приходится постоянно искать самого себя, собственные мысли и чувства, блуждающие где-то между прошлым и будущим. В нем воплоща-

ются, оживают унаследованные от предков душа, идеи, страсти. В этом — третий исток метаморфозы.

В позиции поэта, как в зеркале, отражается тенденция к вечному преображению мира. Его не удовлетворяет однажды достигнутое, в нем не угасает стремление идти непроторенными путями, разгадывать скрытое, потаенное. Каждое поэтическое слово — прозрение новых тайн.

Ранние стихотворения Тариэла Чантурия, уже перешагнувшие порог ученических упражнений, отличались правдивостью, искренностью, лиризмом («Журнал № 3», «Зима», «Как мы перекрывали крышей дом в лунную ночь»...), индивидуальностью восприятия, тонкостью интонаций, минорностью звучания и конкретностью. Стихи написаны простым языком, отражают пережитые самим поэтом факты:

Напомню тебе ноябрь, тринадцатое,
Ночь и луну — половину луны,
Мы осторожно клали черепицу за черепицей,
Грустили, считали долги соседу.
...Всегда, когда улетают ласточки,
Всегда,
Когда падают первые снежинки,
Сердце, как ты грустишь!
Сердце, сколько в тебе сожалений!
Мать вспоминаю я с каждой думой,
И стужу,
И ветер,
И бурю,
И снег...

Именно такого рода стихотворения вошли в первые книги Тариэла Чантурия — «Влечение» и «Война и камень». Позднее он отверг светлый лиризм, ритмико-интонационную упорядоченность, заменил первичные ощущения вторичными настроениями. Изначальным материалом лирики стала для поэта интеллектуальная информация. Лирическое повествование уступило место аналитическому мышлению. Стих усложнился. Все заслонила собой жажда познания («Влечение», «Гость», «Белый лабиринт», «На том берегу», «Двое»). Эмоция была подчинена поискам смысла существования. Полученные по наследству бессознательные впечатления оформились в знания.

С одной стороны, частота и быстрая смена ассоциаций призваны были воссоздать забытые детали, с другой — накопленным на протяжении лет и почерпнутым из книг знаниям пред-

назначено было стать основой структуры стиха. Два начала — интеллектуальное и интуитивное — требовали слияния. Дума-
ется, в тот период добиться равновесия поэту все же не уда-
лось. Но упорство устремлений, желание возвыситься над самим
собой привели к образованию совершенно нового витка.

В этот период Тариэл Чантурия написал немало стихотво-
рений, в которых ощущается близость к поэтическому миру
О. Чиладзе. Явления действительности и исторические реалии
превращаются здесь в предмет художественного созерцания.
Именно созерцание, а не прямое восприятие, является средст-
вом познания и приобщения к миру.

Эта особенность ярче всего проявилась в цикле стихо-
творений «На том берегу» (1969). В нем преобладает интел-
лектуальный поток, дававший о себе знать ранее лишь време-
нами. Эмоциональность проистекает здесь из идеи, концепту-
ального осмысления материала. К слову добавлены символ и
аллегория, а точнее — восстановлено его древнейшее качество:
поливалентность. Слово получило большую, по сравнению с
обычной речью, информационную нагрузку: «Я же меряю ша-
гами многолюдную приемную — так уныло, будто топчу соб-
ственную могилу» («Последний монолог»). Отдельные нюансы
сливаются в единое целое и превращаются в заминированную
ассоциациями картину, созданную обнаруженными фактами
(«На том берегу», «Хулахуп», «Атлантида, Атлантида...»).
Слуховое восприятие, музыкальное звучание оказались исклю-
ченными из поэтического арсенала. Ослабленную мелодич-
ность заменили ритмическое многообразие, использование раз-
личных размеров и порядка стрóf. Поэт избегает рифмы. Воз-
никают прозаизмы, доминирует белый стих. Особую функцию
приобретает заглавие. Вот несколько примеров: «Август. Жара.
Раздумье». Стихотворение об августовской жаре, которая ста-
новится поводом для раздумий, размышлений. Созерцание ре-
альности порождает качественно новую эмоцию.

Я скидываю с себя сшитый в Перми пиджак
И смело ложусь рядом с Цотнэ.

«Ребенок. Выстрел. Сожаление». Стихотворение посвяще-
но Хемингуэю, людям, безвременно ушедшим из жизни. Худо-
жник изображен здесь ребенком, чистым, невинным существом,
которое, тем не менее, таит в себе грядущую опасность («Поче-
му от ребенка не спрятали ружье»). Заложенная в самой при-
роде ребенка способность к внезапному пробуждению чувств,

присущих первобытному человеку с наивным сознанием («Иной, незнакомый и добрый ребенок»), может оказаться роковой. И его нельзя ни в чем обвинить, поскольку ^{ребенок} есть ребенок.

«Осень. Гроза. Амирани». В стихотворении речь идет о страданиях, которые испытывает Амирани в осеннее ненастье. Поэт чувствует, как «постепенно расшатывается кол, к которому прикован Амирани». На этом картина прерывается — как раз тогда, когда Амирани вот-вот обретет свободу. Действие разворачивается в той последовательности, в какой указано в заголовке (например: ребенок — выстрел — сожаление). Стихотворения эти подчинены логической схеме и имеют «сквозной» сюжет. Тем не менее ассоциативные тексты основаны как раз на кажущейся алогичности (например «Влечение»). Здесь читатель сам должен постичь смысл. Стихотворение «На том берегу» свидетельствует об усложнении, которые претерпела простая и естественная речь: «По всему свету пересекают друг друга параллельные рельсы. Напуганный темнотой седой ребенок с балкона зовет отца, но утомленный отец не слышит сыновьего зова; и тогда, напуганный молчанием отца, он зовет мать, но утомленная мать не слышит рыданий ребенка. И сажают беспомощные кустики мирта... Трамбуют землю, и на том берегу вырастает папоротник, рогозы, ситники. По всему свету пересекают друг друга параллельные рельсы. Каким далеким кажется распятому на кресте из весел лодочнику тот берег... Протяжный, как песня, поцелуй призывает надежду, поцелуй, протяжный, как песня; даже тот, кто ограничил землю строгим пределом, даже тот удивлялся поцелую больше, нежели заходу солнца...»

Таким образом, в мироощущении поэта возникают два оппозиционных стиля: первый приобщает нас к близким, первичным, врожденным чувствам, к свежести травы, к прозрачному и безоблачному небу; второй же, взывая к интеллекту, созидает иной порядок, вторгается в сущность мироздания трезвым, рациональным воображением.

Интеллектуальный поток в лирике Тариэла Чантурия возник как средство самоутверждения, сознательного отмежевания от предшественников и современников. Однако постепенно началось возвращение к простому и ясному языку. В этом также проявился общий принцип: буря, мятеж не могут длиться долго. После долгого одиночества душа жаждет общения и вновь поэт обращается к классике. Разум переходит от простого к сложному, чтобы превратить отстоявшиеся в нем структуры

ры в новую, высшую простоту, всегда родственную традиционному. Бунт против традиций — процесс необходимый, но мимолетный.

Новые горизонты в поэзии Тариэла Чантурия открылись сборником «Новолуние» (1970). С точки зрения эволюции творчества поэта это самая важная книга. Здесь четко проявилось мироощущение автора, его поэтическая система и позиция. Интеллектуальное созерцание разветвилось на два потока: один перерос в ироническо-пародийную поэзию, второй — восстановил, усилил и обогатил смысловой динамикой поэзию интимную. Два этих потока и сегодня параллельно сосуществуют в творчестве Тариэла Чантурия, как единство противоположностей.

На мой взгляд, все усилия и творческие эксперименты поэта направлены на защиту и сохранение именно этого второго потока. «Ночь. Житие Картли. Заложник», «Песнь Акакия в 1900 году», «Дин Рид. Песня. Раздумье», «Торо», «Вокруг земли», «Франсуа Вийон: жалоба из могилы», «Руставели и Акакию», «Песня негров-доноров», «Сказка во сне», «Цотна Дадияни перед выступлением в Аниси», «Кватахевский монастырь», «Одиссей ночью», «Автобиография», «Странный коллекционер», «Портрет льва», «Суперказино», — вот те стихотворения, в которых острее всего ощущается мятущаяся душа поэта. И как уже отмечалось, центральное место среди них занимают стихотворения, написанные в лирической манере, безотносительно того посвящены ли они родине, историческим героям или внутренним переживаниям самого автора.

Таким образом, в творчестве Тариэла Чантурия можно выделить четыре стилевых потока: 1. Лирический, 2. Интеллектуальный, 3. Ироническо-пародийный и 4. Опять интимно-лирический. Каждый из них — это отражение в слове определенного периода, определенных лет и настроений, свидетельство неутомимой и ищущей природы поэтического «я» Тариэла Чантурия. Приверженность этим четырем потокам время от времени дает себя знать и сейчас. Поэтому их не следует считать хронологическими ступенями.

Эти четыре стилевые системы, литературные статьи и выраженная в них концепция создают целостную модель поэтического мира, заключающую в себе различные и противоположные структуры. Внутри этой модели существуют стойкие, неизменные элементы, которые повторяются, возможно, даже помимо воли самого автора. Именно они и их комбинации порождают оригинальный личностный и поэтический характер.

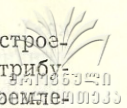
Поэзия Тариэла Чантурия отличается необычайным структурным многообразием. Каждая внешняя деталь служит у него для точности воплощения замысла. Был период, когда он отказался от рифмы и обратился к белому стиху. Казалось бы, эта линия должна была привести его к верлибру. Однако этого не произошло, и поэт вернулся к классической структуре стиха, предпочел сохранить верность рифме. Отсутствие рифмы оказалось органичным для интеллектуальных стихов, где логика выражения мысли, идеи, ассоциации не дают возможности технического совершенствования.

Рифма и метафора являются для Тариэла Чантурия средством постижения бессознательного. Они не только формируют структуру стиха, создают музыку, но и черпают из различных пластов памяти совершенно новые, свежие переживания, о которых поэт, возможно, не имел бы представления, если бы их не вызвали к жизни неожиданные созвучия. Внезапно прорывшаяся молнией мысль вторгается в хаос психики, обогащаясь множеством деталей. Тариэл Чантурия не использует, не создает, а выявляет рифмы и метафоры. Они возникают так же естественно и произвольно, как порядок мироздания. Это качество отличает только подлинных поэтов.

В поэзии Тариэла Чантурия проявились идеи, склонности, признаки, которые были переданы ему генетически и не изменились бы, пиши он даже на любом иностранном языке (эмоциональность, ирония, динамика мысли), хотя в последнем случае были бы выражены значительно слабее, поскольку они обладают животворной силой только на родном языке, кодами которого шифруются. История же представляет собой поглощенный мраком прошлых событий фундамент. Поэтому национальные идеи являются смысловым ядром художественного слова Тариэла Чантурия, которое распадается на многочисленные образы и наполняется символично-бытийным драматизмом.

Тариэл Чантурия утвердил в поэзии интеллектуально-ларическую патетику, соединил два этих различных начала. Эта интонация обусловлена импульсивной, мятущейся природой поэта, его переменчивым характером, свойственной ему быстротой смены впечатлений. Поэту чужды эпическое спокойствие и безмятежность. Стихотворение у него начинается, как мирное повествование, которое однако быстро нарушается.

Патетика Тариэла Чантурия исключает высокопарный тон, велеречивость и ни в коей мере не обусловлена чисто внешними, существующими вне личности историческими явлениями.



простое упоминание которых приводит к изменению настроения. Тариэл Чантурия не принадлежит к числу поэтов-трибунов. Его патетике свойственны волнение, духовные устремления, житейские наблюдения, хаотически перемешанные в сознании поэта, переливающиеся друг в друга, но обретающие порядок и стройность в слове. Поэт — талантливый мастер знакового письма. Многое в его произведениях раскрывается в результате переосмысления строк, их неожиданного прочтения: «Я погибаю в твоих глазах», «Идем вперед, все отступая», «Угнетение грузина грузином», «Большинство мальчиков губит скатывающаяся слеза». Даже традиционные тропы обретают в его поэзии второе значение, дающее возможность их поливалентного объяснения.

Драгоценными украшениями структуры стихотворения являются новые благозвучные рифмы. Тариэл Чантурия обладает чрезвычайно тонким чувством композиции. В его произведениях невозможно поменять строфы местами, что-либо добавить или убрать.

Тематически лирик Тариэла Чантурия, как уже отмечалось, содержит два потока. Один знакомит нас с личной жизнью автора, его настроениями, взаимоотношениями, второй — гражданская, патриотическая тема. Эти два различных, но в то же время составляющих единое целое потока проявляются каждый раз по-новому. Лирическими персонажами входят в произведения мать, отец, дети, друзья, близкие.

Часто появляется в произведениях поэта образ матери, самого близкого и дорогого человека. Воспоминания о ней вызывают окрашенные грустью ассоциации. Матери посвящено одно из первых замечательных стихотворений — «Зима». Образ матери вызывает в памяти впечатления детства, свободные от этнографического налета. Поэта не интересуют названия гор, рек и селений той местности, где он родился, — его привлекают факты, обусловившие те порывы души, которые сохранились на всю жизнь. Они извлекают из мрака забвения субъективные и в то же время близкие всем людям мотивы, близкие настолько, поскольку лиризм, лирические переживания возвращают нас в мир детства и делают сопричастными созданию стихотворения, почти соавторами: «Одиночество ночью.. и к моей матери ходит сирота Ремы Шелия, и молодую девушку не отпускает тоска не улетевших за море ласточек» («Поздняя осень»); «Ночь, и твоя оставшаяся без песни арба навечно скроется в голом лесу грустной осени» («Песня аробци»).

ка»); мало радостей у одинокой матери, погруженной в воспоминания и раздумья («Вечерние передачи»); «И наконец, как мысль, угасает огонь — не порадовать мне тебя керосином и дровами... И моя бесполезная жизнь клубится в тебе горьким дымом» («Мать»). В зеркале стихотворения из тумана небытия возникает призрак отца. Чаще всего образы родителей перекликаются у Тариэла Чантурия с осенью и зимой, дождем и снегом, что еще более усиливает печаль и скорбь человека по своей горестной судьбе.

Стихотворения этого цикла отличает глубочайшая искренность и грустный лиризм. Поэт не жалуется на одиночество, неприкаянность. Житейские детали он изображает с завидной легкостью и эмоциональностью. Переживания выражены с такой простотой, что невольно начинаешь думать, будто и сам мог написать не хуже. Это иллюзия высшей простоты. В этих стихотворениях нет ни одной искусственной ноты, слова или фразы. Они так же безыскусны и драгоценны, как исповедь или улыбка. Таким же переживанием родства, близости проникнуты стихотворения, посвященные друзьям и знакомым. В них полностью отсутствуют какие бы то ни было элементы панегирика. Поэт вспоминает отдельные детали биографии, связанные с адресатом произведения. Эти детали и штрихи имеют смысловую целеустановку. Так формируются этические взгляды поэта, его гражданская позиция. В этот же цикл включено несколько любовных стихотворений («Вокруг земли», «Два балкона», «Пилка дров декабрьским утром»), что придает миру поэтических грез еще большую конкретность и реальность:

Для любви! Лишь для любви, моя хорошая,
Мы и родились, и живем.

Однако это лишь одна сторона отношения личности к миру, одна часть ее существования, которая связывает поэта с землей, близкими, окружающей средой. У него есть еще и духовная родня, «дорогие покойники», люди, жизнь которых не кончается со смертью. Однако дыхание их слышно далеко не всем, оно воспринимается лишь теми, для кого грузинский стих стал плотью и кровью. Число таких людей невелико. Поэт не может по собственному желанию выбирать себе литературных предков, так же, как не выбирают родителей. Бессознательные склонности и влечения независимо от него самого связывают его с определенными именами. Самый близкий Тариэлу Чантурия человек, особенно в последнее десятилетие, — это Акакий Це-

ретели. Поэтому далеко не случайно этот потомок рапсодов фигурирует в лирике поэта. Простой стих Акакия Церетели, его юмор и ирония глубоко родственны Тариэлу Чантурия.

«Печаль! У меня нет другого чичероне в прошлом»

Этим эпиграфом объединен цикл стихотворений, которые создают новую на фоне нашей действительности концепцию патриотических убеждений. Один из основных истоков художественной силы и вдохновенности Тариэла Чантурия кроется в воплощении национальных идей. С позиций высокого гражданства взирает поэт на историю. В истории ему видится современное общество, неизменные модели человеческих взаимоотношений. Патриотическая тематика всегда вдохновляла и воодушевляла грузинских поэтов. Сыны малочисленной нации, они болезненно переживали судьбу и историю родной страны, на долю которой выпала многовековая борьба за сохранение своего физического и духовного существования, самобытности. Невозможно забыть стихотворения Г. Леонидзе, С. Чиковани, Г. Абашидзе, пронизанные болью за трагическое прошлое Грузии. Его персонажи, герои и атрибуты переходят из стихотворения в стихотворение и всегда сохраняют свою злободневность. Патриотические стихотворения Тариэла Чантурия отличаются оригинальностью и представляют несомненный интерес. Для него история — это вечно живой процесс. По его мнению, трагедию Гарниси или Крцаниси нужно переживать так, как будто она произошла только вчера.

Национальные герои — суть наши современники, ибо вечно живут в наших мечтах и помыслах. Сама эта мысль уже полемизирует с известной концепцией, согласно которой история представляет собой завершённый процесс. Однако при этом Тариэл Чантурия далек от идеализации прошлого, он видит в нем не только героическое, образцовое, достойное удивления и восхищения. Летопись страданий грузинского народа содержит и события, вызывающие укоры совести, проклятия, муки стыда.

Поэт избегает панегириков, подходя к прошлому, как суровый, трезвый реалист. Герои прошлого заслуживают не только восхвалений, но и осуждения, ибо именно они, а не только внешние враги были главной причиной бедствий отчизны. Люди, не гнушавшиеся тем, что поработали своих же братьев, не стремились к славе родины, а пользовались ею, чтобы возвеличить собственное имя. Народу требуется идол, пусть даже ложный, поэтому он и по сегодняшний день молится на имена Георгия, Ростома, Али-Бея («Угнетение грузина грузином»). Измена, братоубийство, междоусобицы, войны, ведущиеся во имя чужих ин-

тересов — вот вечная парадигма грузинского бытия. «Проигранные великие войны», разрушенные города и крепости, опустошение и разорение — все это дает немало оснований для скорби, которая, лишь будучи осмысленной, может превратиться в энергию. Трагическим и скорбным оптимизмом проникнуты строки поэта:

Тысячелетья переплыву на их понтонах,
Питаюсь лишь куском хлеба, возвращенным
на их земле...
Тысячу раз рождали меня и тысячу раз
убивали изменой!
Тысячу раз убили меня, и я тысячу раз
воскрес.
(«Камин»)

Тариэлу Чантурия чуждо любованье историей, он листает ее страницы не в поисках самоуспокоения. Его внимание привлекают язвы, изъедавшие некогда грузинский дух и не исцеленные временем. Поэтому он и призывает нас к бдительности, борьбе, действию.

В стихотворениях Тариэла Чантурия уже проявляются первые сигналы национального преобразования, за которыми должен последовать патетический призыв, боевой лозунг:

Все мы здесь!
Все здесь!
Смотри: и Цотнэ
Примчался рысцой!
— Во имя Грузии!
Во имя Грузии!
Во имя Грузии!
Мальчики, равняйтесь!

Такие сигналы звучат во многих стихотворениях. Они возникают произвольно в тексте, пронизанном остроумными и неожиданными мыслями.

После дегероизации истории, когда с нее уже сорван розовый покров, наступает время обратиться к героям, которые нужны современности, сегодняшнему дню. Их существование оправдано будущим. Поэтому и вспоминает Тариэл Чантурия Армази, Хертвиси, Чконлиди, Анаклиа, старца Тэвдорэ, Давида и Цотнэ. Своими делами, осуществленными или только за-

думанными, они служат будущему Грузии. Патриотизму поэта чужды спокойствие и безмятежность. Его волнение, его трепет более свидетельствуют о самоотверженности, нежели пышные восхваления и пылкие восклицания.

Сегодня создана патриотическая поэзия нового звучания, которая что-то отвергла, предав забвению, что-то же, наоборот, возродила и оживила. Ей присуща большая рассудочность в сочетании с вдохновением. Если в последние годы вновь обострился интерес к стихам, то это в первую очередь заслуга тех поэтов, которые выразили жизненные устремления и чаяния нации. Человека не интересует отвлеченная эстетика, он всегда ждет от искусства выражения своих мыслей и настроений, ответа на мучающие его вопросы.

Лет десять тому назад были опубликованы первые стихотворения Тариэла Чантурия, отмеченные отстранением от общей направленности, отступлением от нее. Читатели восприняли эту иронично-пародийную лирику не менее иронически — почти никто не принял ее всерьез. Однако это не обескуражило поэта. Так возникли новые циклы — «Ненастроенные гитары», «Новолуние», «Отрывки серпантина», «Кассета № 9». В них поэт пошел по пути разрушения.

К Тариэлу Чантурия более чем к кому бы то ни было приложим известный лозунг: «Старайтесь все отрицать! О, разрушать легко, а вот создавать!..». Однако для Тариэла Чантурия разрушение в какой-то мере уже содержит в себе созидание, ибо процесс разрушения имеет словесное выражение и сразу же укладывается в новую систему. Этой стихотворной практике предшествовали теоретические постулаты: «Как Райт отверг карниз, и мы должны отвергнуть рифму»; «Состав слезы и отправления тела примерно тот же» («Основы новой поэтики»). Справедливости ради следует отметить, что первый из этих лозунгов был обращен поэтом к молодому поколению, увидевшему традицию в порфире рифмы, ополчившемуся против символа формы, но принявшему эстетику слова. Сам же Тариэл Чантурия направил острие своей иронии против наиболее существенной — против эстетизирования.

Трагедийность, волнение, пафос оказались разменными и превратились в повседневную банальность. В поэзию хлынули житейские мелочи, бытовые детали, диалоги, жаргон и диалектизмы. Первый объект переоценки и обесценения — бог, питавший фантазию древнего мира. Но бог умер и похоронен на кладбище идей. Вместо него у нас осталось чучело, манекен. И хотя боги прекрасны только после смерти, однако правда и

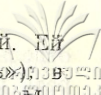
то, что только будучи поверженными, они становятся объектом чисто земного, человеческого отношения к себе — насмешки и иронии: «Бог проводит сеанс одновременной игры на трюх с половиной миллиардах досок: гроссмейстер одержал победу во всех встречах» («Бог-гроссмейстер»); «Играет бог на небе в бильярд, забросит «звезду» — и доволен» («Горькая шутка при виде упавшей звезды»). Поэт иронизирует над всеми богами заодно — Зевсом, Христом, Аллахом, Шивой, Буддой... В единый гул сливается грохот колесниц Рамзеса — и какого-то жителя Хони («Боги»).

Стрелы девальвации направлены именно в бога, который венчает собой мифы и легенды, мир, окутанный туманом романтизма и иллюзий. Новое время несет с собой иную красоту. Комизм, внесенный в логические и потусторонние явления разрушает их и открывает путь к миру без бога. Миру, которым управляет машина и охваченный страстями, сомнениями, великими и простыми идеями человек. Мир противопоставил себя творцу и в конце концов отверг его, как вещь не нужную, не находящую применения. Господь вынужден спуститься на землю и разговаривать с человеком на равных («В пути»). После пародирования всевышнего приходит черед человека, которого он сотворил и обрек на смерть. Цель поэта — сохранить в абстрактном понятии личности только благородное и гуманное, освободить его от балласта, под которым погребены потопки Адама. Ирония — оружие, посредством которого поэт борется с бессердечием, безнравственностью, аморальностью. Ирония — это также средство самозащиты от обступившего со всех сторон хаоса и старого эстетического порядка, способ активизировать человека, усилить его жизнеспособность.

В этом плане представляют интерес названия, без которых восприятие произведения затруднительно. В названиях сосредоточена идея, раскрытию которой служит антистих в целом. Название содержит найденную мысль, а следовательно, и определенную информацию: «Банальная элегия, или Гамлет на колхозной пашне», «Угроза неонацизма, или наблюдение за клопом», «Трансплантация в Тбилиси», «Второй день после потопа, или библейский завтрак», «Отрывок из устного экзамена по грузинской литературе», «Влюбленный Архимед», «Субботний вечер в интернате» и т. п.

Тариэл Чантурия мыслит не только образами, но и стилем, который уже сам по себе несет определенную информацию.

Итак: после бога приходит черед человека.



Не существует любви в чистом виде, без примесей. Ей всегда сопутствует ревность, страх, сожаления («Любовь»); течение восемнадцати лет бережет мачеха пиджак Туха Мокрия, но вот в дом приходит сноха и надевает единственную память о девере на пугало («Распятие»); парни и девушки гуляют по улицам города как по лугу, в деревне же мечтают об асфальте («Уничтожим различие между городом и деревней»); двадцатый век подобен комнатной собачке, единственная надежда которой — остатки воды на блюде да кусок колбасы («Двадцатый век»); «Безумие, сплошное безумие», — вещает попугай Альберта Камю, проповедуя абсурд; однако это — мысль оппозиционера, с которым полемизирует своими стихами поэт, борющийся против загрязнения не только окружающей среды, но и человеческой души («Экологи и поэты»).

Поэт вовлечен в «игру» жизни, не отрывается от нее и поэтому не является нигилистом. Нигилизм — философия настроения, его не интересует объяснение человеческой души. Ирония же имеет конечной целью добро, от имени которого она осуждает и порицает, разоблачает псевдоценности, те взаимоотношения, которые фальсифицировало время.

Явления и чувства, связывающие богов и людей, претерпевают постоянную девальвацию. Жизнь и смерть, любовь, дружба, истина во все времена воспринимаются по-разному. Поэт первым осуществляет фиксацию признаков эпохи. Чувствительный камертон его души отзывается на тончайшие проявления действительности, еще не улавливаемые обычным ухом. Уже завтра они либо станут всеобщим достоянием, либо будут преданы забвению. Таризэл Чантурия создает стихотворения, не имеющие конца, в которых особое значение придается художественным деталям и фрагментам, знакам: «Здесь из тысячелетия в тысячелетие жил и работал человек» («Предостережение, или мемориальная доска для земли»). Такие фразы не являются выражением скептицизма и нигилизма, не имеют целью усилить напряженность, напротив — это ощущение приближающейся опасности, ироническое осмысление горькой жизненной правды, подтекстом для которого служит нервный, учащенный пульс современного мира.

Острое зрение поэта схватывает тысячи мелочей, конкретные реалии, прозаический материал. Привнесение в них парадоксальной мысли создает совершенно новое, причудливое освещение эмпирических фактов.

В стихотворениях этого цикла рассеяно множество необычных, оригинальных, иронических мыслей. Они сосредоточены в

отдельных строках или образах. Поэт не делает попытки собрать их в единое аналитическое произведение, расположить парадоксы в систему, поскольку эти мысли — плод вечно прекращающегося устремления. Поэтому нам предстоит, призвав свое воображение, объединить их и составить новый текст, чтобы отбросить случайное и придать рельефность главному, расшифровав тем самым мысль поэта.

По глубококому убеждению Тариэла Чантурия, как уже отмечалось, сегодня нельзя следовать избитой концепции, поэтической системе, какой бы оригинальной она ни представлялась, конечно, в том случае, если поэт хочет быть выразителем чаяний эпохи. Подлинный художник не боится переоценки позиции, отказа от взглядов, проповедуемых ранее, попыток, пусть даже безуспешных, свернуть с проторенного пути, ибо тот, кто боится ошибиться, не создает ничего ценного. При стремительных темпах современности все ценности сегодня удивительно быстро устаревают, ветшают. Единственный выход из этого положения — всегда стремиться к обновлению, изменению, преобразению. Поэтому поэзия Тариэла Чантурия преисполнена сложной и многосторонней информацией. Всю ироническо-пародийную лирику поэта следует осмысливать как единое целое. По-видимому, только в будущем она обретет более полный и более определенный концептуальный характер. Однако и сегодня ясно, что речь не должна идти об отдельных стихотворениях, а тем более — об отдельных деталях. Для того, чтобы принять те или иные преувеличения, остроумные догадки, неприличные взгляды как интеллектуальное осмысление современности, необходимо исходить из целостного представления о творчестве поэта. Ведь наше время названо «эпохой сомнений» не только фигурально.

В основе этих стихотворений лежит не утомление, а мечта о лучшем будущем, стремление изобличить коренящиеся в глубинах психики негативные явления, шаржировать помпезность, заземлить небесное, высокопарно-возвышенное, опровергнуть тезис «жизнь — это длительное заболевание», принадлежащий Сократу, этому первому декаденту. Следует отметить также, что «незаконченность», «фрагментарность» стиха Тариэла Чантурия подразумевает разрушение классической симметрии и порядка. В нем вырисовывается потаенный образ смятенного мира, который проявляется словно бы независимо от воли художника, и никто не знает пути, каким он может достигнуть совершенства.

Поэт проявляется в том, как он использует язык, ибо

опирается он на «вечный язык», а не на слова, возникшие лишь вчера. Синтаксис, интонация, лексика часто бывают продиктованы материалом, подчас же романтическое содержание выражено тривиально-бытовым языком, создающим пародийный эффект. Тариэлу Чантурия близка лингвистическая, тематическая, смысловая пародия. Его ироническая лирика уже сама по себе пародия на классический стих. Однако это, как уже отмечалось, не только не вызывает нигилизма, кризиса души, но и равнозначно созданию благоприятных климатических условий для новых ростков и побегов.

Тариэл Чантурия в качестве пародии на «Малое завещание» Франсуа Вийона написал целую поэму, которую посвятил Д. Цередиани — переводчику этого произведения на грузинский язык. В поэме Франсуа уступил место Франсуазе. Она снабжена примечаниями, объясняющими те детали текста, которые по контрасту усиливают комизм. Новое содержание облачено в старую форму. Современная эпоха вообще заменила трагизм, трагедию юмором, коллизией. Аудитория хочет смеха, веселья, развлечения и с прохладцей относится к трагедии. Люди устали от трагедий. Потребность в юморе заслонила собой лиризм, трагизм, эпическое повествование, и поэт великолепно чувствует отзвуки глубоких структурных изменений. Однако он понимает и то, что в них кроется тяга к легким развлечениям, чуждая подлинному искусству. Он переносит эту потребность в юморе в интеллектуальную сферу, в которой юмор представляет уже как ирония и пародия. Ирония-пародия опирается на разнообразный литературный материал, тонкий вкус, обширную жизненную информацию.

Особый интерес вызывает написанное прозой стихотворение «Пергаменты, или зашифрованные палимпсесты», представляющее собой вступление к целому циклу, но при этом произведение совершенно самостоятельное. Как всякая пародия, стихотворение имеет два плана: может показаться, что автор ведет речь о палимпсестах, изготовлении чернил, стирании текста, с пера и пергаменте, однако во все это незаметно закрадывается идея палимпсеста души. Путем аналогии поэт воссоздает перечеркнутые потомками страсти наших предков. На этот раз его не интересует вторичный текст, он стремится расшифровать запорошенные пылью времени первоначальные записи. Поэтому научный анализ палимпсестов приобретает пародийный, переносный оттенок. Следует также отметить, что этот оригинальный замысел воплощен с особым волнением, равноценным эмоциям, затраченной на создание стихотворения:

«Мастер для крепости добавлял в чернила — настой, приготовленный на скорлупе ореха, — железную пыль! Но еще крепче были чернила, если в них добавляли немного слез, еще же крепче — если их настаивали на слезах и на крови! А еще крепче были чернила, если, кроме железа, слез и крови, в них добавляли золотую пыль! И все же, несмотря ни на что, можно было стереть то, что было написано железом, слезами, кровью и золотом»...

Как уже говорилось, единство деталей воссоздает ритм жизни, настроения, взгляды современного гражданина. Здесь выдержано структурное соответствие, требующее в ответ на девальвацию эстетики девальвирования формы. Рифма освободилась от функциональной нагрузки и превратилась в развлекательный элемент. Метафора свидетельствует об упрощении, измелчании и эмпиричности («В каждом пятом мужчине сегодня женский гормон»).

Так складывается эстетика «Обманутого ожидания». Каждый нюанс стихотворения вызывает у нас изумление, каждый зашифрован кодом «анти». Позднее изумление постепенно проходит, глаз привыкает к причудливой игре света, замысел прясняется, и перед нами возникает поэт, художник реконструированного НТР мира. Подлинную же ценность стихотворения этого плана обретают не только в своем единстве, но и в сопоставлении со стихами иного характера.

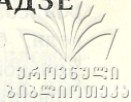
Ироническо-пародийная лирика сегодня достаточно популярна в литературе (М. Мачавариани, В. Джавахадзе, Б. Харанаули, М. Поцхишвили, Н. Бартая). Можно ожидать, что интерес к ней не только не ослабнет со временем, но и более усилится.

Закрывая книги Тариэла Чантурия, мы задумываемся над тем, какую безграничную любовь питает поэт к родному народу, как кристально чисто и правдиво его слово, насколько сильны и неизгладимы переданные нам впечатления.

Мечта поэта о трансплантации любви воплотилась в собственных словах.

Статья печатается с сокращениями.





НАУКА ТРЕБУЕТ ОБЪЕКТИВНОСТИ

(О «МУЧЕНИЧЕСТВЕ ШУШАНИК» ИАКОБА ЦУРТАВЕЛИ)

В МИНУВШЕМ году армянский молодежный журнал «Гарун» (орган ЦК ЛКСМ Армении) опубликован статью Хосрова Торосяна «Мученичество Шушаник», в которой автор, отрицая грузинское происхождение этого памятника, пытается выдать его за оригинальное произведение армянской литературы. Статья помещена под рубрикой «Вопросы культуры». То, что до сих пор казалось нам ясным и очевидным, для редакции армянского молодежного журнала, оказывается, остается вопросом.

Статью Х. Торосяна предваряет короткое письмо в редакцию, которое подписывает студент Армянского государственного университета Артур Гарагозян. Вот оно, это письмо: «В последнее время на полках книжных магазинов Еревана появился литературный сборник «Кавкасиони» (№ 1, 1983, издательство «Мерани»). Из аннотации к сборнику мы узнаем, что цель «Кавкасиони» — «знакомить русскоязычного читателя с литературной жизнью Грузии: на его страницах будут публиковаться русские переводы грузинских, абхазских и осетинских писателей. В этом же номере напечатано также «Мученичество Шушаник» и пространная статья, в которой этот памятник рассматривается как произведение грузинской литературы. До сих пор мне было известно, что «Мученичество Шушаник» — памятник армянской литературы, поэтому вообразите мое изумление, когда я прочел совершенно обратное. Дорогая редакция, прошу помочь мне разобраться в этом недоразумении».

Ничего не попишешь, редакция, оказывается, была вынуждена ответить на вопрос читателя, это и послужило поводом для публикации статьи Х. Торосяна. Вообще-то будь редакция заинтересована в объективном разрешении вопроса, она, наверное, обратилась бы к более компетентному исследователю.

По мнению Х. Торосяна, географической средой, в которой создано «Мученичество святой Шушаник» Иакоба Цугравели, была Армения: «Мученичество Шушаник» — шедевр армянской литературы. Это — один из образцов эпопеи раннехристианской феодальной эпохи. Место, где происходит описываемое событие, называется Гугарки (Гогарени (груз.) — Б. А.), которое испокон веков было армянским». Далее автор статьи рассказывает об истории политико-административного дробления Армении и продолжает: «Судьба Гугарки была изменчивой. С целью ослабления Армянского царства Персия в IV веке оторгла от него значительную часть территории и присоединила ее к Грузии... и Албании. Во времена Шушаник армянские бдешхи¹ были упразднены, поскольку Армения потеряла самоуправление. Тем не менее владелец Гугарки пользовался достаточным влиянием в армяно-грузинском феодальном мире, что было обусловлено его дружескими отношениями с Персией. Он продолжал именоваться бдешхом, но это был уже только титул, ничего больше. Гугарский бдешх считался грузинским бдешхом, поскольку защищал Армянское царство со стороны Картли; а позднее потому, что Гугарки вошла в состав Картли. Однако какова бы ни была политическая судьба Гугарки, в этнико-географическом отношении она была и остается частью Армении».

Сразу же отметим, что Х. Торосян тенденциозно освещает историю Гогарени — древнейшей провинции Нижней Картли (тенденциозность, вообще, характеризует всю его статью).

В первую очередь, несколько слов об этимологии слова «Гогарени». В нем сохранился мегрельско-чанский суффикс «-ар» древнейшего происхождения со значением «гог-эл» и «гуг-эл»¹.

Вот что писал Н. Марр о Гогарени (Гогареби):

«Что гоги с магогами библейских текстов до ассирийских источников отождествлялись и без яфетидологии со скифами. нас сейчас не займет, но гугары, resp. — гогары, т. е. гуги и гоги, это ведь этническая среда выработки грузинской социальной формации, грузинской национальности, древнейший

¹ То же, что и «питиахш» (груз.), т. е. правитель пограничной области в древней Грузии.

¹ Шанидзе А. Два чано-мингрельских суффикса в грузинском и армянском языках, ЗВОРАО. т. XXIII, Петроград, 1916, с. 369.

этап в этом исторически важнейшем для Кавказа процессе, породившем картов или картвелов...»².

Таким образом и Н. Марр считал гогаров той племенной средой, из которой вышли грузины. Того же мнения придерживались и Сен-Мартен, и М. Броссе, и другие ученые, которых мы не будем перечислять, поскольку это завело бы нас слишком далеко. Довольно упомянуть соотечественника Х. Торосяна армянского историка Мосэ Хоренаци, который еще в пятом столетии писал, что население Гугарки испокон веков составляло племя иберов.

Итак, Х. Торосян ненаучно подходит к вопросу, объявляя Гогарени исконно армянской землей. В действительности же имел место следующий факт: по свидетельству древнегреческого историка Страбона, во II в. до н. э. Армения захватила картлийскую провинцию Гогарени и присоединила ее к себе. В 387 г. Картли окончательно вернула гогаренскую землю, которая стала неотъемлемой ее частью. Понятно, что этнический состав граничившей с Арменией провинции наряду с коренным грузинским населением должен был включать в себя и армянское. Но следует учесть и то, что эпиграфические надписи этого края до X века — исключительно грузинские.

Что касается Цуртави, резиденции питиахша Варскена, то согласно новейшим исследованиям, оно должно было находиться между Болниси и Рустави, в ущелье реки Храми (нынешнее село Арахли). Вахушти в своей «Географии» называет это место Нахидури.

Итак, после 387 г. Гогаренская (Гугарская) провинция вновь становится государственной единицей Картлийского царства и утрачивает какую бы то ни было функцию как армянская территория.

Таким образом, утверждение Х. Торосяна, что «Мученичество святой Шушаник» создано в армянской географической среде, лишено всякого основания и не имеет ничего общего с исторической действительностью.

Надо сказать, что статья Х. Торосяна, непонятно почему, написана в гневном тоне, который достигает своей кульминации, когда автор, имея в виду Варскена и Шушаник, задается вопросом: «Кто они?» и начинает рассказ об истории происхождения сперва Шушаник, потом Варскена, причем так подробно излагает генеалогию героев, как будто кто-то (в том числе и грузинские ученые) когда-либо ставил под сом-

² Марр Н. Избранные работы, т. IV, 1937, с. 269.

нение слова Иакоба Цуртавели: «...Женой его (Варскена Б.А.) была дочь армянского военачальника Вардана, о которой пишу вам это. Отческое ее имя было Вардан, а ласкательное — Шушаника»¹.

Итак, пресвитер Иакоб сообщает нам, что Шушаник была дочерью армянского спаспета — военачальника Вардана Мамиконяна, т. е. армянкой, и никто никогда не оспаривал это. Х. Торосян тем не менее во всех подробностях излагает историю семьи Шушаник Мамиконян и походя ставит под сомнение дату ее рождения (409), установленную армянским ученым Г. Ороманяном, никак, впрочем, не обосновывая свое положение.

Известно, что Шушаник — потомок двух знатных армянских родов — Мамиконян и Партев, прославившихся в свое время самоотверженностью и преданностью родине. Для человека, мало-мальски знакомого с исторической литературой Армении, это не составляет секрета. Зачем же понадобилось Х. Торосяну особо подчеркивать национальную принадлежность Шушаник? Вот что он пишет: «Армянская церковь причислила Вардана Мамиконяна к лику святых. Понятно поэтому, что живым воплощением идеи, духа, моральных принципов, на которых воспитывалась Шушаник, был ее отец. Шушаник борется за сохранение родной армянской традиции и готова, подобно отцу, пожертвовать для этого своей жизнью». Тем самым Х. Торосян дает понять читателю, что жизнью и мученичеством Шушаник мог заинтересоваться только армянский писатель, который естественно создал этот великолепный памятник ей на армянском языке.

Армянка по национальности Шушаник добровольно приняла муки во имя христианства и как жена своевольного грузинского питахша после своей кончины вольно или невольно оказалась в центре национальных или религиозных интересов грузин. Это — исторический факт, хотя он и кажется Х. Торосяну неправдоподобным. Однако история Шушаник — единственный случай отражения в грузинской литературе подобной самоотверженности представителей других национальностей. Вспомним хотя бы араба Або, пожертвовавшего собой во имя христианства и таким образом защитившего интересы своей жены-грузинки. В те времена верность христианским

¹ Цитаты из «Мученичества святой Шушаник» Иакоба Цуртавели даются в переводе Корнелия Кекелидзе.

идеалам была равносильна борьбе за национальную самостоятельность.

Но вернемся к статье Х. Торосяна. Он готов пролезть в игольное ушко, лишь бы убедить читателя, что Варскен был армянином. (Следует отметить, что, высказывая ту или иную мысль, Х. Торосян не утруждает себя ссылкой на источник, подтверждающий эту мысль). Для пущей убедительности он создает вокруг Варскеновой семьи армянское окружение: «Вазген — муж Шушаник, гугарский, т. е. грузинский бдешх, был сыном Аршуша. Коротко об Аршуше. Он — из тех вельмож, которых вместе с Варданом Мамиконяном призвали ко двору персидского царя. Лазарь Парпеци рассказывает: «В 17-м году грузинский князь Аршуш испросил у царя персидского Хазкерта разрешения на то, чтобы ему были переданы дети блаженной памяти Амаяка Мамиконяна, бывшие заложниками при персидском дворе. Персидский царь выполнил просьбу Аршуша. Узнав об этом, Аршуш «поднялся, на глазах у всех преклонил колена и стал биться лбом о пол в знак благодарности». С целью доказать, что Аршуш был армянином, Х. Торосян ставит перед читателем вопрос: «Ради кого сделал он все это?». И сам же отвечает: «Амаяк был братом Вардана Мамиконяна, которого убили в Таикском сражении с персами. Детей Амаяка звали Ваган, Васак, Арташес. Известно, что Ваган стал вождем и героем сражений 80-х годов. Аршуш привез маленьких заложников к себе домой и воспитал их. В то время в прославленном роду Арцруниан было две сестры — Дзвики и Анушварам, Дзвики была женой Амаяка Мамиконяна и матерью Вагана. Анушварам же — женой Аршуша и матерью Вазгена... Брат Дзвики и Анушварам — Ага-Арцруни являлся учеником Саак-Месропа, подобно своему учителю он был верным поклонником всего армянского, как и Вардан». И преисполненный пафоса заключает: «Трудно представить себе армянскую семью, в такой степени пронизанную армянским духом» (выделено мною — Б. А.).

В сообщении Х. Торосяна о том, что женой питиахша Аршуша была представительница рода Арцруниан, нет ничего нового. Что касается самого Аршуша, он был правителем древнейшей грузинской провинции Гогарени, граничившей, как известно, с Арменией и естественно грузином, так как грузинские цари, преследуя определенные политические и национальные цели, избегали назначать правителями пограничных областей лиц негрузинского происхождения. В связи с этим

С. Джанашиа в одном из своих трудов, исследующих институт грузинских питиахшей, писал: «После того, как шах обрел опору в лице определенной части картлийской знати питиахшами назначаются грузины (до этого были исключительно персы — Б. А.). В частности, титул питиахша со всеми вытекающими политическими функциями унаследовали нижнекартлийские князья из дома Аршуша»¹.

Еще более конкретно о личности питиахшей высказался С. Какабадзе, по мнению которого питиахши в Картли были помощниками правителей областей, и, как правило, на эту должность назначали грузин. Так, например, был назначен питиахшем грузин Варскен, сын Аршуша².

Армянский историк V века Лазаре Парпеци писал об Аршуше: «Из страны грузинской были бдешх Аршуш и управители ее». Эти сведения надо понимать в прямом смысле, а не в переносном, как это делает Х. Торосян. Родственные связи грузинского питиахша с армянами вовсе не повод для того, чтобы сомневаться в его национальной принадлежности.

Впрочем Х. Торосяну это мало интересно, он продолжает доказывать свое: «В семье Аршуша царил дух Анушварам, Дзвики, Ага-Арцруни, а теперь к ней прибавляются дух Вардана Мамиконяна и Саак-Партева... Вазген принадлежал к числу тех армянских вельмож, которые в 60-х годах V века отступились от христианства и приняли зороастризм. Таким образом Вазген — продолжатель того политического направления, против которого в 50-е годы боролись Вардан и его единомышленники. В 70-х годах вновь разгорается борьба уже приверженцев Вагана Мамиконяна против персов, того самого Вагана Мамиконяна, который воспитывался в доме бдешха Аршуша вместе с его сыном Вазгеном. Но Вазген и Ваган оказались по разные стороны баррикады... В 450-м году перед началом сражения с персами на Авараирском поле армяне поклялись быть «непримиримыми с предателями — внешними или внутренними, бороться со всеми — будь то родитель или слуга». Шушаник осталась до конца верной этой клятве. Она восстала против мужа. Так они противостояли друг другу — патриотка и предатель, продолжательница дела Вардана Мамиконяна и единомышленник Васака Сюнеци (сторонника персов — Б. А.). Вардан Мамиконян пал жертвой этой борьбы, и дочь его избрала путь отца».

¹ Джанашиа С. Труды, т. 1, 1949, с. 266—267.

² С. Какабадзе. Вахтанг Горгасали. 1959, стр. 20.

Нетрудно догадаться, почему понадобилась Х. Торосяну вся эта история. Не смущаясь, он объявляет армянином вслед за Шушаник и Варскена, не имея на то никаких оснований. Во всяком случае, его положения не подкрепляются доказательствами. Бесконечные рассуждения о родственных связях семьи Аршуша он завершает действительно абсурдным выводом: «Как мы видим, — пишет Х. Торосян, — территориальная среда, в которой создано «Мученичество Шушаник», — Гугарки, действие происходит в армянской семье и два главных его героя — армяне. Причина их трагедии кроется в армянской почве. Шушаник борется за то, чтобы ее семья, дети оставались верными своей армянской сущности. Ясно, что все это не имеет никакого отношения к грузинской церкви».

Недаром говорится, со лжецом во всяком деле мука. Как видно, Х. Торосян не очень силен в родной армянской духовной литературе и в истории армянской церкви. Не способный к самостоятельному научному мышлению, он слепо доверяется высказываниям бельгийского ученого П. Пеетерса, давно раскритикованным и отвергнутым специалистами. По мысли П. Пеетерса, в древнегрузинской литературе вплоть до XI века нет никаких сведений о Шушаник. Она была признана святой сперва армянской церковью, а затем уже, после раскола грузино-армянской церкви (VII в.) — грузинской. Поэтому, естественно, «Мученичество Шушаник» не могло быть написано раньше VII века.

Это положение П. Пеетерса выстроено на незнании древних грузинских письменных источников. Но то, что так или иначе простительно иностранному ученому, ни в коей мере не может служить оправданием ученому-соседу.

Никогда никому из грузинских исследователей «Мученичества святой Шушаник», включая и его создателя, не приходило в голову скрывать принадлежность Шушаник к армянской нации, поскольку этот факт никого не смущал, в чем откровенно сомневался П. Пеетерс и на что осторожные намекает Х. Торосян. Шушаник приняла муки на грузинской земле, своей деятельностью она органически была связана с Картли и принесла себя в жертву, защищая христианство и интересы своей грузинской семьи. Поэтому грузинская церковь сразу после кончины причислила ее к лику святых. В данном случае национальность не имела никакого значения. Эвстатэ Мцхетэли и Або Тбилели не были грузинами, но признаны святыми грузинской церковью. Точно так же, как признанные святыми армянской церковью Рипсима и Гаянэ не

были армянками. Шушаник в данном случае не являлась исключением.

Имеются ли сведения о Шушаник в древнегрузинских письменных источниках, датируемых V—X веками?

Шушаник упоминается в литургических памятниках. Так, в календаре, составленном в X веке Иоанэ-Зосиме, в день 17 октября отмечено: «Память о Козмани и Дамианэ и Шушаник, которая приняла муки в Картли...». Сведение о «Мученичестве...» находим и в «Определении Иерусалима» (VIII—IX вв.). А в каноне X века, принадлежащем, как полагают ученые, Микаэлу Модрекили, говорится: «К невесте Христовой, Нино, проповеднице Картли, звезда светила с божественным его огнем... пришли мы, дабы воспеть хвалу Гаянэ, и Рипсиме, и несгибаемой Шушаник...». Есть упоминание о Шушаник в памятнике IX века «О разделении Картли и Армении» Арсена Сапарели. Автор повествует об истории раскола грузино-армянской церкви. Правда, то место в тексте, где упоминается Шушаник, звучит несколько туманно, но одно очевидно — в нем говорится о Шушаник, а в данном случае нас интересует именно это: «И изгнал Кирион, католикос Картлийский Мосэ из Цуртави из храма своего в Сомхити, который был воздвигнут у могилы Шушаник. Абрам попросил у Кириона этот храм, но он не послушался его...»

Имя Шушаник встречаем и в «Обращении Картли»: «Царил Бакур, а католикосом был Макар, а тогда же был Варскен-питиахш, и Шушаник приняла муки в Цуртави, а потом католикосом был Самоэл...». Сведения о Шушаник находим и в «Житии Картли», и в других письменных источниках. Уже из приведенных примеров видно, что грузинской исторической литературе хорошо известно имя Шушаник, деятельность которой воспринималась как органичная часть духовной и материальной жизни Картли.

Обращаем внимание читателя (и особенно Х. Торосяна) на «Книгу эпистолов», которая, правда, не дошла до нас на грузинском языке, но сохранилась на армянском языке. В ней содержатся интересные сведения об истории армяно-грузинской церкви. В начале VII века происходит окончательный раскол армяно-грузинской церкви. Он начался в Цуртавском епископстве. Когда католикос Картли Кирион затеял церковные реформы, недовольный его деятельностью цуртавский епископ Мосэ покинул Цуртави и уехал в Армению. Он сообщил отцам армянской церкви, что грузины отступились от истинной веры. После этого началась переписка между католикосом

Картли Кирионом и католикосом Армении Абрамом. В «Книге эпистолов» очень часто упоминается святая Шушаник. Особенно интересно письмо Кириона к Абраму, датированное 608 годом. Кирион отмечает, что в прошлом грузины и армяны были едины в религиозном отношении, жили в ладу и согласии: «...азнауры из армян, породнившиеся с грузинами, приезжали во Мцхета помолиться святой Шушаник, поклониться Мцхетскому Кресту и таким образом причаститься к Закону...». Возникает вопрос, зачем армянам надо было ездить во Мцхета для молитвы, если в Армении уже был учрежден день памяти Шушаник? Не исключено, что католикос Картли Кирион (VI—VII) был знаком с «Мученичеством...»¹.

А теперь поинтересуемся, упоминается ли Шушаник в армянских письменных памятниках V—XI веков?

Сразу же отметим, современная Шушаник армянская литература V столетия хранит полное молчание о ней. Самой популярной личностью в Армении той эпохи был ее отец Вардан Мамиконян — герой армянского восстания 450 года. Мосэ Хоренаци, Егише, Лазаре Парпеци в своих произведениях воспели хвалу героизму и самоотверженности Вардана Мамиконяна и ни словом не обмолвились о его дочери-мученице. Трудно представить, чтобы Лазаре Парпеци ничего не сказал бы в своей «Истории» о Шушаник, если бы она была причислена армянской церковью к лику святых. Он был ее современником и одно время (с 455 года) находился при дворе птиахша Аршуша. Это он по поручению двоюродного брата Шушаник Вагана Мамиконяна описал антиперсидские восстания армян 450 и 482—483 годов. Восстанием 482—483 годов руководили Вахтанг Горгасал и Ваган Мамиконян. Парпеци в своей «Истории» черным по белому пишет: «...В стране Картли случились волнения и смута. Вахтанг убил неверного бдеша Вазгена на двадцать пятом году правления царя Пероза». Это и послужило поводом к восстанию против персов. Разве не естественно было бы вспомнить здесь о Шушаник? Не следует принимать всерьез тенденциозное соображение П. Петерса, будто бы Парпеци не упомянул о Шушаник из боязни перед Ваганом Мамиконяном, так как последний одно время исповедывал маздеизм и выступал сторонником персов. Тогда Парпеци должен был умолчать и о подвигах отца Шушаник

¹ К сожалению, в грузинский текст нашей статьи, опубликованной в журнале «Мнатоби» № 12, 1987 года, прокралось несколько корректурных ошибок, связанных с датами (прим. автора).

Вардана Мамиконяна, бескомпромиссного борца против терсов, поскольку это могло оскорбить самолюбие Вагана Мамиконяна. Молчание Парпеци объясняется тем, что в то время в Армении еще не было культа Шушаник. Кроме того, ни в грузинском оригинале «Мученичества...», ни в его армянском переводе нет упоминания об армянских родственниках Шушаник, кроме одного, и деятелях армянской церкви. Это говорит о том, что в Армении V века история Шушаник не имела никакого отклика, в то время как в Картли при жизни ее почитали и после смерти, с большими почестями предав земле, причислили к лику святых.

В армянской переводной редакции «Мученичества...» прямо так и говорится: «И сам епископ пожаловал к своим иеромонахам и дьякам, которые поддерживали и делили горести блаженной той царицы, чтобы отправить от великих трудов ее к обители Христовой. А также пришли самые знатные азнауры и другие вельможи страны Картлийской, чтобы принять участие в отправлении и благословении блаженной Шушаник» (выделено мною — Б. А.).

Как видно, трагическая судьба Шушаник взволновала все слои населения Картли, что нашло отражение и в армянском переводе «Мученичества...». Ни в одном тексте армянского перевода нет и следа заинтересованности тогдашней армянской общественности (V в.) судьбой Шушаник.

Деятели армянской церкви нередко утверждают, что Шушаник ввела в Цуртави армянское богослужение, но будь это так, это непременно нашло бы отражение в грузинском оригинале «Мученичества...» и в его армянском переводе. Кто-то ввел отцов церкви в заблуждение, иначе вряд ли они стали бы утверждать то, чего нет в самом произведении.

Естественно возникает вопрос: когда Шушаник была причислена к лику святых в Армении?

Это произошло в начале VII века после раскола грузино-армянской церкви. В 609 году армянский католикос Абрам обратился к своему народу с призывом отворотиться от грузин как от иноверцев.

После этого армяне перестали поклоняться Мцхетскому Кресту, перестали ездить в Манглиси и Цуртави. Именно в это время Шушаник причисляется к лику святых армянской церкви, а произведение Иакоба Цуртавели переводится на армянский язык. Таким образом культ Шушаник, возникший в Картли во второй половине V века и постепенно распространившийся в VI веке и на Армению, в начале VII века объяв-

ляется привилегией исключительно армянской церкви. До седьмого века армянский перевод «Мученичества...» нигде не зафиксирован.

Таким образом, заявление Х. Торосяна о том, что Шушаник по смерти сразу же была причислена в Армении к лику святых, не имеет ничего общего с действительностью.

Что касается питахша, то из «Мученичества...» мы знаем, что однажды он пожелал отужинать вместе с братом Джоджиком, его женой и Шушаник. «Под вечер пригласили жену Джоджика, чтобы вкусить пищу вместе, велели привести и святую Шушанику. Когда настало время есть, Джоджик с женой вошли к Шушанике, чтобы пригласить ее вкусить пищу, ибо все дни она провела голодной. Ее вынудили и силою взяли во дворец, но ни до чего она не дотрагивалась. Жена Джоджика преподнесла ей стакан вина и принуждала ее выпить его. Святая Шушаник с гневом сказала ей: «Когда это бывало до сих пор, чтобы мужчины и женщины вместе вкушали хлеб?» и, протянув руку, швырнула ей в лицо стакан, который разбился, причем вино разлилось.

Тогда Варскен стал непристойно ругать ее и топтать ногами своими. Он взял кочергу и нанес ей по голове такой удар, что кочерга врезалась ей в голову, от этого у нее распух один глаз. Он бил ее безжалостно кулаками по лицу, волочил по земле за волосы, ревел, как разъяренный зверь и кричал как бешеный. Тогда поднялся на помощь Джоджик, брат Варскена, последний в схватке избил и его, а у Шушаники сорвал с головы покрывало. Джоджик с трудом отнял ее у него, как ягненка у волка. Святая Шушаника, как мертвая, лежала на земле, Варскен же ругал ее родственников¹ и называл ее разорительницей его дома» (выделено мною — Б. А.).

Обратите внимание: взбешенный поведением Шушаник Варскен безжалостно избивает ее и клянет весь ее род. Это значит, что Варскен, в отличие от Шушаник, иного племени, т. е. родом грузин, потому и позволяет себе ругать «родственников ее». Будь Варскен армянином, он не стал бы столь непочтительно отзываться о национальности своей жены, ибо в таком случае он ругал бы и себя, свое племя. Интересно, что в армянском переводе «Мученичества...» это место выглядит иначе. Армянский переводчик, как видно, оскорбленный

¹ В оригинале «თესლტობი» — имеется в виду национальность (прим. автора).

в своих национальных чувствах, решил подправить Иакоба Цуртавели. У него Варскен ругает не «родственников» Шушаник, а... бога. На этой детали в свое время заострил внимание и Р. Барамидзе и, исходя из нее, предложил любопытное наблюдение о национальной позиции автора «Мученичества...»: «Пресвитер Иакоб сознательно не акцентирует внимания на национальности Варскена, поскольку поведение Варскена — это его, автора, боль, боль всех грузин, и потому, как бы компенсируя неприятное впечатление от него, он рисует коренных жителей Картли отстраненными от Варскена. Следует учесть и то, что будь автор и Шушаник одной национальности, т. е. будь автор (Иакоб Цуртавели — Б. А.) тоже негрузином, он не строил бы повествование, исходя из позиций Картли, а привнес бы в него совершенно иной нюанс».

... О том, что Варскен был грузином, свидетельствует и следующий факт: в 482 году Вахтанг Горгасал приказал убить честолюбивого питиахша. Стал бы царь Картли приговаривать Варскена к смерти, будь он иной, не грузинской национальности? Вряд ли, ибо это еще более осложнило бы отношения с персидским царем. Но он посчитал возможным расправиться со спесивым питиахшом, который при поддержке персидского царя стал проводить независимую политику, истому что тот был его подданным.

Таким образом, Х. Торосяну, несмотря на все старания, не удалось доказать негрузинское происхождение Варскена.

Причина трагедии, разыгравшейся в семье грузинского питиахша, кроется в государственно-национальных интересах Картли, и армянка Шушаник, обрекая себя на муки ради них, защищает тем самым и интересы своей семьи. Именно потому ее мученичество описывает грузинский священник, а грузины причисляют ее по смерти к лику святых.

Х. Торосян никак не может смириться с тем, что автором «Мученичества святой Шушаник» считается грузин Иакоб Цуртавели. Уязвленный подобной «несправедливостью», он пишет: «Егише, автор «Истории» — армянин, Парпеци — тоже армянин, почему же автор «Мученичества Шушаник» должен быть обязательно грузином? Какая связь может быть у грузина с этим произведением? Было бы большим лицемерием думать, что в V веке какой-то грузин (выделено нами — Б. А.), исходя из истинно армянских интересов, мог написать историю мученичества армянки, пронизанную политическим и религиозным духом, характерным для Егише и Парпеци».

Что можно сказать по поводу столь далеких от науки

рассуждений?! Х. Торосяну следовало бы знать, что Иакоб Цуртавели — не «какой-то грузин», а гордость грузинского народа, талантливый писатель, создавший в V веке художественный шедевр «Мученичество святой Шушаник». И неуважительный тон по отношению к нему оскорбителен для всего нашего народа. Не пощадил Х. Торосян и грузинских ученых, вывел их лжецами. Всего несколько лет назад мы собрали гостей со всего света и торжественно отметили 1500-летие первого грузинского художественного произведения «Мученичество святой Шушаник» Иакоба Цуртавели. На научной конференции, посвященной этому юбилею, выступили, между прочим, и армянские ученые, принявшие активное участие в торжествах. А сегодня Х. Торосян перечеркивает все это одним росчерком пера.

Научная истина для Х. Торосяна, по-видимому, не представляет никакой ценности. Главное для него — произвести впечатление, сенсацию. Однако нас удивляет позиция редакции «Гаруна», которая, как видно, полностью разделяет взгляды Х. Торосяна.

К сожалению, Х. Торосян не ограничивается вышеизложенными сентенциями и выдает новые «научные» перлы. Оказывается, грузинских ученых ввело в заблуждение то, что до нас дошли как армянские редакции «Мученичества Шушаник» (пространная и краткая), так и грузинские (тоже пространная и краткая). «Естественно встал вопрос: какая из них — оригинал, и какая — перевод? Бесчисленные факты, каждый в отдельности и вместе взятые, свидетельствуют о том, что грузинская пространная редакция — перевод с армянского. Перевод осуществлен в VI веке, точную дату, естественно установить невозможно, но отрезок времени, в который он проведен, определить, пожалуй, есть возможность. Для этого обратимся к ряду имеющихся множества фактов».

После столь бойких рассуждений мы ждали, что автор статьи приведет хотя бы один из упомянутого множества фактов, но, увы, наши ожидания не оправдались. Вместо этого он вновь обращается к П. Пеетерсу, к его устаревшему и одностороннему взгляду на «Мученичество...». Возможно, призывая на помощь Пеетерса, он пытается создать впечатление объективности — мол, в отличие от него, Х. Торосяна, бельгийского ученого в пристрастности не упрекнешь. «П. Пеетерс доказал, что его метод исследования этого произведения получил всеобщее признание. Краткая грузинская редакция «Мученичества Шушаник» переведена в 940—944 г. г. Это

бесспорно. Таким образом, краткая армянская редакция существовала уже в IX или начале X века. Сравнительный анализ показал, что автор пространной грузинской редакции воспользовался краткой армянской редакцией, что не могло произойти в V веке, и, стало быть, это произведение не могло быть создано впервые на грузинском языке. Есть основания предполагать, что автор пространной грузинской редакции имел под рукой краткую грузинскую редакцию. Таким образом, пространная грузинская редакция не могла появиться раньше X века. Временные рамки ее создания: 940—944 гг. — до XI века. Это — период создания рукописи, считающейся самой ранней и представляющей собой полную грузинскую редакцию».

Беспочвенность этого положения, которое Х. Торосян почти слово в слово повторяет вслед за П. Пеетерсом, в свое время научно доказали И. Джавахишвили, К. Кекелидзе, И. Абуладзе, Ш. Ониани и другие.

П. Пеетерс утверждал, что в древнегрузинской литературе нет и следа «Мученичества Шушаник». Какой отклик имело произведение Иакоба Цуртавели в грузинских письменных источниках V—XI вв., мы говорили выше и повторяться не будем. П. Пеетерс впадает в противоречие, утверждая, будто общие места произведения «Псевдо-Иакоба» и армянской редакции, а также следы зависимости армянской редакции от грузинской объясняются тем, что обе рукописи используют некую промежуточную грузинскую редакцию. К. Кекелидзе справедливо замечал: «Если эта редакция пропала еще до 940 года (как это считал П. Пеетерс — Б. А.), то как мог воспользоваться ею «Псевдо-Иакоб» после 940 года?». К. Кекелидзе подверг критике положение П. Пеетерса и отверг его как ошибочное: «Приоритет во всех отношениях принадлежит труду Иакоба. Об этом свидетельствуют, в первую очередь, детали произведения: а) хронологические — отправление Варскена в Персию в восьмой год по воцарении Пероза, указанные времени троекратных страданий Шушаник: 8 января, пасхальное воскресенье и 19 мая; б) географические — страна Эрети, пограничная область Грузии, Урда — кладбище, на котором похоронена мать Варскена, подробное описание природы уголка, где приняла муки Шушаник; в) бытовые — общее, женское и мужское, застолье, возвращение приданого, описание тюремного режима. Невозможно, чтобы эти детали были сочинены Иакобом-переводчиком, зато вполне допустим их пропуск в процессе перевода с грузинского на ар-

мянский. Показателен также непринужденный тон повествования, более подходящий непосредственному рассказчику, нежели переводчику. Наконец, в грузинской редакции нет и следа национальных настроений. Армянская редакция от начала до конца пронизана национальной тенденцией. Это говорит о том, что произведение Иакоба написано до раскола единой грузино-армянской церкви, а армянский его вариант — после него»¹.

Казалось бы, нет нужды в дополнительных доказательствах первичности произведения Иакоба Цуртавели, но ученый не ограничивается этим и в подтверждение своей мысли приводит дополнительные факты.

«То, что произведение Иакоба действительно написано в эпоху единения армяно-грузинской церкви, видно из следующего: 1. Даты праздников движущиеся: днем памяти Шушаник установлен не день ее смерти, а четверг; такая практика была у нас именно в эту эпоху и состояла в том, что дни памяти мучеников и святых были связаны не с числом месяца, а с днем недели... 2. Архаичность и перифраз библейского текста: мысль Апостола Павла, высказанная им в «Первом послании к коринфянам» (гл. VII, ст. 15): «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны...», здесь (И. Цуртавели «Мученичество Шушаник») передана в несколько измененном виде. 3. Литургическая практика еще не знает гимнографического элемента, она ограничивается чтением псалмов; ночь перед погребением Шушаник, — пишет Иакоб, — «провели мы в бодрствовании... на цевнице Давида славили мы всемогущего Бога и Сына его Господа нашего Иисуса Христа...»

П. Пеетерс сознательно не сделал текстологического сравнения — анализ произведения Иакоба Цуртавели и его армянских переводов, что и явилось причиной его ошибок и заблуждений относительно «Мученичества...». Впоследствии такой анализ был проделан известным грузинским арменологом И. Абуладзе, в результате которого еще раз подтвердилось, что «Мученичество Шушаник» Иакоба Цуртавели — оригинальное произведение, с которого сделан армянский перевод.

Но у Х. Торосяна своя точка зрения на это. «В каргвелологии, — пишет он, — принята мысль, что автором «Му-

¹ Кекелидзе К. Древнегрузинская литература, т. 1, 1951, Тбилиси, с. 108—109.

ченичества Шушаник» является Иакоб, духовник дома Шушаник. Это еще раз доказывает, что оригинал произведения создан на армянском языке, ибо личным духовником Шушаник не мог быть грузин».

Что можно сказать против такого «убийственного» довода? Факт, что Х. Торосян не имеет даже приблизительного представления об истории грузино-армянских религиозных отношений. В противном случае он знал бы, что при дворе паша Аршуша официальным языком был грузинский, но и армянский, вероятно, не считался чужим — ведь провинция, правителем которой он являлся, находилась на границе с Арменией. В то время (V в.) грузины и армяне были едины в религиозном отношении. И пресвитер Иакоб, будучи духовником Шушаник, был, конечно, грузином. Тут же отметим, что и Шушаник прекрасно владела родным языком своего супруга Варскена. Вот, что пишет Л. Джанашиа в своем исследовании, посвященном «Мученичеству...»: «Шушаник рано вышла замуж за Варскена. Джоджик, брат Варскена был моложе ее. Он вырос на глазах у Шушаник. Поэтому она могла сказать ему: «Знаю, что я — сестра и что мы вместе воспитаны», Между прочим, эти слова Шушаник, адресованные Джоджику, в армянском переводе отсутствуют. Шушаник и Джоджика связывали отношения брата и сестры, ведь именно Джоджика подсылает Варскен для примирения к бросившей его жене. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что Шушаник, с юности поселившаяся во дворце паша Нижней Картли, знала грузинский язык и грамоту. Средством коммуникации для нее было безусловно грузинский. И со своим духовником она говорила по-грузински. Об этом свидетельствует весь текст оригинала «Мученичества..», совершенно свободный от национальных тенденций, чего, кстати, нельзя сказать об армянском переводе. Если бы царица Шушаник говорила по-армянски, это непременно нашло бы отражение в тексте в виде арменизмов в ее речи, поскольку Иакоб Цуртавели, талантливый писатель, с завидной точностью и мастерством отобразивший современный ему быт, не прошел бы мимо такого факта.

В армянской филологической науке давно утвердился ошибочный взгляд на «Мученичество святой Шушаник» Иакоба Цуртавели. В исследованиях и учебниках по древнеармянской литературе это сочинение рассматривается как памятник национальной литературы, сознательно умалчивается, что это — перевод с грузинского. Ныне к исследованиям М. Абе-

гля, К. Тер-Давряна и других армянских ученых прибавился так называемый труд Х. Торосяна, который превзошел своих предшественников по части «открытий».

Публикацию подобной работы в солидном научном издании никак нельзя было бы оправдать — ни с научной точки зрения, ни с этической. Так писать о соседнем народе в наше время не подобает. С произведением Иакоба Дуртавели и его героиней связаны понятия взаимоуважения и дружбы между грузинами и армянами, и труды, посвященные ему — на обоих языках, — должны служить тем же целям.

ХРОНИКА

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО

СОВЕТ Министров Грузинской ССР принял постановление об увековечении памяти выдающегося грузинского ученого — лингвиста, академика Академии наук Грузии, профессора Арнольда Степановича Чикобава.

Имя А. С. Чикобава присвоено Институту языкознания Академии наук Грузинской ССР, средней школе села Дзвели Сенаки Цхакаевского района, улицам в Тбилиси и Цхакая. На домах, где проживал ученый, будут установлены мемориальные доски. на могиле его решено воздвигнуть памятник.

Учреждены премия имени А. С. Чикобава, присуждаемая раз в три года лучшим работам в области общего и иберийско-кавказского языкознания, стипендия для студентов-отличников отделения кавказских и картвельских языков филологического факультета ТГУ.

В соответствии с завещанием ученого, решено передать Институту языкознания Академии наук Грузинской ССР при-

надлежащую ученому дачу в Окрокана для организации там Дома творчества, а также организовать в квартире А. С. Чикобава кабинет иберийско-кавказского языкознания филологического факультета Тбилисского государственного университета.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДА

В День грузинского театра, на проспекте Плеханова столицы Грузии, где до последних дней жил выдающийся советский актер, народный артист СССР Акакий Васадзе, был открыт его Дом-музей.

С именем А. Васадзе связано становление и развитие грузинского советского театра, обогащение его образами и спектаклями большого художественного и общественного звучания.

Об этом говорили на открытии Дома-музея председатель правления Союза театральных деятелей Г. Лордкипанидзе, профессор Э. Гугушвили, Д. Джанелидзе, актеры тбилисских театров, ученики выдающегося актера.

Вахтанг ЕСВАНДЖИЯ

Хижина свободы

В СЕНТЯБРЕ прошлого года по приглашению коммуны города Бельджиратэ в Италию на открытие музея национального героя Италии, нашего земляка Форэ Мосулишвили отправилась делегация из Грузии. Об этой поездке рассказывает глава делегации журналист Вахтанг Есванджия.

— ОЧЕНЬ часто мне доводилось слышать вопрос — почему бы не перенести прах Форэ Мосулишвили на родину?

Не сразу и ответишь на этот вопрос. Думается, перезахоронение оправдано, если имя покойного теряет свое значение и предается забвению на чужой стороне. Но когда и по прошествии десятилетий могилу его постоянно украшают цветами, когда по несколько раз в году торжественно отмечают все даты, связанные с его жизнью, и само имя его служит святым идеалам добра и любви, дружбы и свободы — как быть тогда? И еще одно: если мы и перенесем его прах на родину, сможем ли мы так же бережно хранить память о нем, как это делают наши итальянские друзья?

Идея создания музея Форэ Мосулишвили принадлежит мэру города Бельджиратэ господину Луиджи Прини.

2 декабря 1984 года в городе Арона на многотысячном митинге, посвященном сорокалетию подвига грузинского партизана, Прини заявил, что коммуна Бельджиратэ решила купить домик и участок земли, где сорок лет назад произошло роковое сражение, в котором погиб герой, и открыть там музей.

Музей мыслился как выражение глубокого уважения и любви не только к грузинскому партизану, но и ко всем советским воинам, сражавшимся на итальянской земле в годы

второй мировой войны, он должен был стать новым очагом дружбы между грузинским и итальянским народами. Я присутствовал на том митинге и от имени грузинского народа выразил глубокую признательность итальянцам и обещал свое содействие в подготовке экспонатов для будущего музея.

С большим энтузиазмом за это дело взялся Союз художников Грузии. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР Зураб Церетели выполнил в технике перегородчатой эмали портреты Форэ Мосулишвили и уроженца города Бельджиратэ, национального героя Италии Энрико Бертани, скульптор Автандил Мchedлишвили изваял прекрасный горельеф Форэ, Коба Гурули и Нодар Эргемлидзе великолепно оформили обложки для «Вепхисткаосани» и фотоальбома. В дар музею прислали экспонаты и многие частные лица и организации.

Исполком Сигнахского района и сельский совет Квемо Мачхаани собрали и подготовили этнографический материал, отображающий культуру и быт грузинского народа. Нами было подготовлено более сорока фотопланшетов документов, повествующих о жизни Форэ, о его боевом пути, о дружбе грузинских и итальянских партизан, фотопанорамы Тбилиси, Сигнахи и Квемо Мачхаани.

Нашим итальянским друзьям при создании музея пришлось преодолеть большие трудности и сложности. Но мэр города Бельджиратэ, инженер-строитель по профессии, человек очень приветливый, дружелюбный, и главное — человек слова, и он не успокоился до тех пор, пока не довел начатое дело до конца.

К сожалению, не было единодушия в этом вопросе и у нас — поездка наша едва не сорвалась по милости одного из союзных ведомств. Только после вмешательства вышестоящих партийных органов, чуть не в последний момент, мы получили разрешение на поездку.

И вот 17 сентября наша немногочисленная делегация, в состав которой вошли, помимо автора этих строк, старший брат Форэ — Георгий Мосулишвили, председатель сельсовета Квемо Мачхаани Тамаз Якобишвили и архитектор Георгий Джанберидзе, благополучно приземлилась в международном аэропорту Милана Малпенса и сейчас же очутились в кругу друзей. Еще каких-нибудь сорок километров, и мы прибыли в один из красивейших уголков у Лаго Маджоре — в город Бельджиратэ.

В тот же день вместе с властями Бельджиратэ и руководителями партизанского движения мы осмотрели здание будущего музея. Оно расположено в двух километрах от города, на скло-

не горы Матаронэ, откуда открывается прекрасный вид на озеро Лаго Маджоре. Эти маленькие каменные домики в Италии называют «байта», в прежние времена они служили пристанищем для пастухов. Три года назад, когда я в последний раз видел эту хижину, она была почти вся развалена. Ее восстановили, перекрыли новой крышей, вставили окна, двери, сняли внутри перегородку и получилась одна большая комната. На одной из стен местный художник создал живописное панно, изображающее сцену гибели Форэ. Дворик огорожен красивой изгородью, расчищен, благоустривали его и при нас, поскольку хозяева стремились все успеть к открытию музея — 20 сентября.

Вместе с нашими итальянскими друзьями мы составили план расположения экспонатов, привезенных из Грузии. Честно говоря, их хватило бы на помещение гораздо большее.

Бронзовый горельеф Форэ был укреплен снаружи у входа в музей, а портреты Энрико Бертани и Форэ Мосулишвили украсили интерьер. Все экспонаты были расположены в музее стараниями архитектора Георгия Джанберидзе.

На праздник приехала делегация югославских партизан, их было тридцать человек, по большей части бойцы дивизии героя из Бельджиратэ Энрико Бертани.

Накануне открытия музея, 19 сентября вечером, хозяева устроили народное гулянье в честь советской и югославской делегаций. Состоялся концерт под открытым небом, до начала которого оркестр исполнил гимны трех стран — Италии, Югославии и СССР.

Но настоящий праздник ждал нас наутро. Стояла прекрасная погода, в Италии ведь в это время года очень тепло. Но этот день 20 сентября был особенным. Приведу перевод информации, опубликованной в местной газете «Ла газета дель лаги» «Праздник в «Хижине свободы»:

«Солнечным великолепным сентябрьским днем советские представители, югославские и итальянские партизаны, представители муниципалитетов прибрежных и горных районов торжественно открыли «Хижину свободы», который находится выше Бельджиратэ, в лесу напротив озера.

Тут в декабре 1944 года в самоотверженной борьбе сложил голову советский воин Форэ Мосулишвили, который был в плену в Италии, а затем присоединился к партизанам.

Можно провести трагическую параллель между советским воином и уроженцем Бельджиратэ Энрико Бертани, который погиб в горах далекой Югославии в последние дни войны.

С утра народ собрался на кладбище в Ароне, где похоронен Форэ Мосулишвили. Сюда пришли мэры — профессор Пьетро Катальдо и Луиджи Прини, капитано Бруно (Бруно Калетти), который был не только командиром партизанского отряда, но и его «отцом», советская делегация, знаменосцы всех муниципалитетов Осолии, Вербани, Вальсезии, Ломбардии, национальной ассоциации итальянских партизан.

Как только замолкли фанфары, зазвучал взволнованный голос восьмидесятилетнего капитано Бруно:

— «Мы против всякой войны, она не нужна ни нашим детям, ни нашим внукам. Сегодня мы искренне рады тому, что две великие державы — СССР и Америка стремятся к миру.

Люди никогда не забудут своих героев — Бертани и Мосулишвили, ибо благодаря им мы завоевали свободу.

Мэр города Новара профессор Катальдо дал высокую оценку манифестации, отметив, что она служит священным целям мира и взаимопонимания народов.

Мемориал советского партизана украсили венками цветов, горсть привезенной братом Форэ грузинской земли смешали с землей, в которой покоится герой, затем длинный кортеж машин и автобусов, во главе которого ехали мэр города Бельджиратэ Луиджи Прини и мэр родного села Форэ Тамаз Якобишвили, направился к Бельджиратэ, где под сенью развивающихся знамен их ждало множество народа.

Остальная часть церемонии прошла в Бельджиратэ: выступление командира дивизии итальяно-югославских партизан, восхождение к «Баите», месса в поле и освящение того места, которому отныне суждено стать местом паломничества, потому что свобода имеет неизмеримый смысл.

Среди лесов каштанов, акаций, каменных дубов, с вечно-зелеными папоротниками в нашей Вертанье появилось место, которое будут помнить и почитать.

Народа собралось в воскресенье очень много, хотя со стороны Ароны отсутствовали ассессоры, как, впрочем, наблюдалось и в других случаях.

Этим синьорам мы должны напомнить, что их демократические ассессорские кресла держатся на той крови, которую проливали ради них такие, как Бертани и Мосулишвили».

Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела наших гостеприимных хозяев. Но надо полагать, что столь резкая критика в адрес некоторых чиновников муниципалитета Ароны видимс справедлива, хотя для стороннего глаза ничего не было заметно. Ясно лишь, что эти слова никак нельзя отне-

сти к руководителям коммуны Бельджиратэ и к его жителям. В то воскресенье тут царило полное единодушие. По улице, которая ведет к «Хижине свободы» и давно уже носит имя Форэ Мосулишвили, шли тысячи людей, не было конца колоннам, несшим цветы, венки и разноцветные, необычайно красочные знамена. Особенно радовало то, что плечом к плечу с бывшими партизанами шла молодежь, шли женщины и дети, шли люди разных взглядов, представители многих провинций Италии. Тут были мэры городов, депутаты парламента. С нами был и консул СССР в Милане Янис Яунземс.

При входе во двор, у ворот, где на широкой деревянной доске выбито «Baita della liberta» (Хижина свободы), Луиджи Прини перерезал красную ленточку. Он же открыл митинг-манифестацию и представил собравшимся делегацию СССР. В своем выступлении мэр отметил, что жители Бельджиратэ гордятся Форэ так же, как и своим сыном Энрико Бертани.

— Один итальянец, другой — грузин, оба молодые, полные жизни, они пожертвовали собой во имя одной цели — во имя счастья людей. Сегодня оба — национальные герои Италии.

Как я уже говорил, в составе нашей делегации был брат Форэ Георгий Мосулишвили, личность, наделенная высокими достоинствами, степенный, прозорливый, истинный кахетинец-виноградарь. Его принимали очень тепло, с любовью. Случайностей не бывает, — заключили наши хозяева, по-видимому, благородство и мужество присущи всему роду Мосулишвили.

На митинге Георгию было предоставлено слово, он очень волновался, но выступление его было встречено тепло и радушно. Он выразил благодарность мэру Луиджи Прини, итальянским партизанам, всем жителям Бельджиратэ, сказав: «Я знал, как высоко чтут память моего брата, но увиденное превзошло все ожидания. Я был бы вам благодарен за одно: только то, что вы обустроили родник (постоянная боль и забота кахетинца! — В. Е.), назвав его именем моего брата. Путник, напившись воды и освежившись, с благодарностью омянет его. Я благодарен тебе, брат мой Форэ, за то, что твоем подвигом прославил нас, Грузию, и наше родное село».

Много добрых слов было сказано на митинге. С большой политической платформой выступил президент Новарского института Сопротивления, бывший партизан, профессор Энрико Масара. Шестнадцать лет назад он был в Грузии в составе официальной делегации, которая прибыла в связи с призна-

нием Форэ Мосулишвили национальным героем Италии. В своей речи он говорил о необходимости мира для всех народов, о насущных политических задачах нынешней Италии, отметил заслуги советских партизан, в частности Форэ Мосулишвили, в деле освобождения Италии. Вспомнил он и о своей поездке в Грузию и встрече в Квемо Мачхаани с матерью Форэ — удивительной женщиной Тэбро Мосулишвили.

По традиции после манифестации приглашенный коммуной священник отслужил мессу в память об Энрико Бертани и Форэ Мосулишвили, затем освятил музей. Прежде чем посетители вошли вовнутрь, мы стали свидетелями еще одной торжественной церемонии. Сестра Энрико, синьора Изолетта сняла с мраморной доски, на которой высечены волнующие стихи о свободе, трехцветный итальянский флаг. А Георгий Мосулишвили снял с горельефа Форэ алый стяг нашей страны.

И вот наконец мы вошли в музей. Приятным сюрпризом для наших хозяев явился портрет Энрико Бертани, выполненный Зурабом Церетели. В особенности он взволновал синьору Изолетту, на глазах ее блестели слезы, она горячо благодарила нас, а известный партийный и государственный деятель, депутат итальянского парламента Джанни Мотетта сказал нам: «Это музей Форэ, и кто бы мог упрекнуть вас, если бы здесь не было портрета Энрико Бертани. Но ваш исполненный благородства жест еще более поднял в наших глазах грузинский народ, в рыцарстве и великодушии которого мы не сомневались и раньше».

Так в Италии — в стране Данте и Боккаччо, Микельанджело и Рафаэля, Россини и Верди, Гарибальди и Мадзини, рядом со сказочными музеями и множеством удивительных вещей, на берегу красивейшего озера Лаго Маджоре, в Бельджиратэ, в каштановой роще возник еще один музей: «Хижина свободы», подлинный символ дружбы, братства, величественный мемориал героизму и самопожертвованию грузинского воина.

Запомните, пожалуйста, этот адрес: Italia, Baita della liberta, via Mossulishvili, 25, 28040 Belgirate (Novara).

Отныне, если счастливый случай, дружеское приглашение или туристическая путевка приведут вас на север Италии, в окрестности Милана, не поленитесь купить одну гвоздику и посетить святую обитель на берегу Лаго Маджоре. И поверьте, любой житель Бельджиратэ радушно встретит земляка Форэ и с удовольствием укажет вам путь, ведущий к «Хижине свободы».

верить и любить

В ОКТЯБРЕ прошлого года католикос-патриарх всея Грузии Илья II совершил поездку в Израиль. Эта поездка и явилась темой беседы святейшего католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II и писателя Гурама Батиашвили.

Г. Батиашвили: Святейший, не так давно Грузинская церковь причислила к лику святых Илью Чавчавадзе. Казалось бы, сам по себе этот факт не имеет никакого отношения к теме нашей беседы, но это только на первый взгляд. Ведь в этом факте нашло свое выражение то, что Грузинская церковь считает наиболее важным в своей деятельности. Все творчество Ильи пронизано идеями гуманизма и истинного человеколюбия, он был горячим заступником любой нации, в том числе и евреев. Его перу принадлежит и блестящая статья о еврейском народе. Поэтому понятна та глубокая благодарность, которую выразили вся общественность и народ за столь высокое почитание Ильи — причисление его к лику святых.

Илья II: Прежде всего я хочу благословить Грузию и передать ей благословение святого города Иерусалима, «города великого владыки», как сказал наш Спаситель. Побывав в Иерусалиме — центре трех религий: иудаизма, христианства и мусульманства — убеждаешься, что это необычный город.

Что касается Ильи Чавчавадзе, то в доказательство ваших слов я хотел бы вспомнить один день в Иерусалиме. Мы привезли в Иерусалим икону Ильи Праведного (Чавчавадзе) и назначили день, в который с торжествами должны были внести ее в наш святой монастырь. Грузинские евреи обратились ко мне с просьбой разрешить им нести икону. И я дал разрешение. С благоговением и трепетом внесли они икону в монастырь и расположили ее неподалеку от фрески Шота Руставели.

Г. Батиашвили: Факт, конечно, волнующий и в своем роде единственный. Это доказательство того, какой волшебной силой обладает слово писателя!

Илья II: Я скажу больше — все мы, и грузины и евреи, долго молились коленопреклоненными. И столь велика была в

тот момент любовь, что стерла она границы вероисповеданий и национальной принадлежности. Это был незабываемый день.

Г. Батиашвили: Вы уже второй раз побывали в Израиле. С какой миссией ездили вы на этот раз и каков был состав делегации?

Илья II: Мы уже давно намеревались посетить Иерусалим (первый раз мы побывали там в 1980 году). У нас было желание включить в состав делегации помимо духовных лиц ученых и общественных деятелей. Но это оказалось непросто. В итоге было решено, что вместе со мной отправятся митрополит Сухумо-Абхазский Давид, ректор духовной семинарии, Цилканский епископ Зосиме, протоиерей Элгуджа Лосаберидзе и научный сотрудник тбилисского университета Автандил Микаберидзе. Было оговорено и время визита — с 18 по 27 октября. В Тель-Авив мы приехали 18 октября вечером. На следующий день нам устроили торжественную встречу у Яффских ворот. Среди встречающих были представители всех христианских церквей Иерусалима, власти города, представители консульств многих стран, учащиеся духовных семинарий, члены общества Руставели, много было и грузинских евреев. Праздничная процессия направилась к храму Воскресения Христа.

Здесь Иерусалимский патриарх Диодор I и я обратились друг к другу с приветственным словом.

Разумеется, причиной нашего визита в Израиль в первую очередь было посещение святых мест, но мы также ставили себе целью укрепление связей между Иерусалимским и Грузинским патриаршествами, между Грузией и грузинскими евреями, живущими в Израиле.

Г. Батиашвили: Во время наших с вами встреч мы не раз беседовали о судьбе Крестового монастыря, о его прошлом — гибели и возрождении. Мне хотелось бы вновь вернуться к этой теме.

Илья II: Монастырь святого Креста стоит на месте, где племянником Авраама, Лотом, были посажены саженцы кипариса, сосны и ели. Лот хотел узнать, будет ли прощен его грех. И в знак того, что грех прощен, произошло чудо — три саженца срослись в одно дерево. По преданию, его срубил царь Соломон для строительства Иерусалимского храма. Но дерево не понадобилось. Долгое время лежало оно возле Соломонова храма и служило верующим для отдыха. Впоследствии из него изготовили крест, на котором был распят Христос.

В IV веке первый христианский царь Грузии Мириан купил землю, где росло это легендарное дерево, и на этом месте возвел

храм. Храм переживал бурный расцвет во времена царя Вахтанга Горгасала.

В начале XI века святой монастырь был полностью разрушен египтянами, но к середине XI века, благодаря пожертвованиям грузинского царя Баграта Куропалата и его матери царицы Мариаи, обитель была восстановлена иеромонахом Прохором.

В Крестовом монастыре подвизались многие просвещенные деятели грузинской культуры, в их числе и великий Шота Руставели. Монастырь являлся не только духовным, но и культурно-просветительским центром. К сожалению, к концу XVII века монастырь утратил свое величие и значение — тяжелое политическое и экономическое положение Грузии отразилось и на нем. Из Грузии перестали поступать средства, и монахам стало не под силу платить положенную мусульманами подать. Таким образом монастырь перешел под покровительство греческого патриаршества в Иерусалиме. Все имущество Крестового монастыря — церковная утварь, одеяния, иконы, библиотека — было перенесено в Иерусалимскую патриархию.

В 1855—1908 годах стараниями Иерусалимского патриарха тут действовала семинария.

В 1948—58 годах в монастыре стояла израильская воинская часть.

Сегодня обитель пустует. У нее есть только настоятель, грек, архимандрит Феофилакт. Временно также здесь пребывают приехавший из-за границы иеродьякон Серафим и приглашенный на работу художник-реставратор; мы забеспокоились: не угрожает ли какая опасность грузинским фрескам, поскольку в монастыре повреждений не заметили.

Фрески, в том числе и фреска Руставели, в хорошем состоянии. И монастырь, и кельи (число которых больше трехсот) ухожены. Народ в храм не ходит, туристские маршруты не предусматривают его посещение. Архимандрит редко приходит сюда служить службу. Вообще, поскольку греков-христиан в Иерусалиме очень мало, пустуют и другие храмы.

Г. Батишвили: Важнейшая цель литературы, это общеизвестно, отображение жизни. И литература тем выше, чем глубже и серьезнее постигает она жизненные процессы. Но бывает и так, что литература создает свою реальность, которая в определенной степени воздействует на действительность. Так произошло с моей пьесой «Долг». Вы знаете, что сюжет ее связан с историей Крестового монастыря. Толчком к ее созданию яви-

лись не реальные факты, а любовь, которая росла и укреплялась в народе в течение многих веков совместного проживания на одной земле, которая должна была обусловить акцию такого рода. И обусловила-таки. Но окончательно решить этот сложный вопрос оказалось непросто. Ваши старания в этом деле известны...

Илья II: Ваша пьеса, батоно Гурам, очень остро поставила вопрос о Крестовом монастыре как перед грузинами, так и перед грузинскими евреями. Возвращение его Грузинской церкви стало казаться более реальным. Пьеса еще более укрепила любовь между нашими народами. И я благодарю вас за это.

Положение Крестового монастыря всегда беспокоило грузинский народ. Долгое время продолжались хлопоты о его возвращении. Последняя попытка была сделана царем Ираклием II, но она также не увенчалась успехом.

Во время моего первого визита в Иерусалим, когда патриарший трон занимал блаженнейший Бенедикт, я попытался разобраться в ситуации, выяснить, в каком состоянии находятся древние грузинские исторические ценности. Но разговор с блаженнейшим не получился, поскольку он уже в то время был тяжело болен. После его кончины патриархом стал Диодор I. Во время его пребывания в Грузии в своей официальной речи я коснулся вопроса Крестового монастыря и попросил у патриарха помощи. Тогда Диодор I сказал переводчику: «Передайте патриарху Илье, я думаю, вопрос будет решен положительно».

Во время моего нынешнего визита в Израиль у нас вновь состоялся разговор с патриархом. Греки неохотно откликнулись на нашу просьбу. Но патриарх все же обещал рассмотреть наше письмо на заседании святейшего синода.

Большое внимание нам оказало палестинское представительство Русской Православной Церкви, за что мы очень признательны.

Г. Батиашвили: Я хочу вспомнить наш разговор, который состоялся перед вашим первым визитом в Израиль в 1980 году, и должен признать, что я ошибался. Я сказал вам тогда приблизительно следующее: Я знаю, как могут встретить любого грузина уехавшие отсюда в Израиль евреи, но вы лицо духовное, католикос-патриарх всея Грузии, а они исповедуют иудаизм, и, быть может, различие вероисповеданий окажет какое-либо влияние. Но по вашему возвращении в Грузию я узнал, что грузинские евреи устроили вам теплую и торжественную встречу в Израиле.

Илья II: Дружба между грузинским и еврейским народа-

ми началась не вчера. До некоторой степени схожи судьбы и истории наших народов. Несмотря на тяжелые испытания и несчастья, выпавшие на долю грузинского народа, враг не смог искоренить его веру и национальную самобытность.

Как известно, евреи пришли в Грузию за 600 лет до Рождества Христова, во времена правления вавилонского царя Навуходоносора. Это была благословенная нация, которая принесла нам веру в Единого Истинного Бога, принесла высокую культуру. В свою очередь, и они приобщились к нашей культуре, усвоили наш язык, обычаи и традиции нашего народа.

История Грузии, грузинские цари не помнят предательства со стороны евреев. Они всегда добросовестно трудились на нашей земле, и грузины высоко ценили их. Этим объясняется отчасти и то, что Грузия единственная страна, где никогда не было антисемитизма. Этим объясняется и тот факт, что уехавшие отсюда в Израиль евреи никогда не переставали любить Грузию, грузинский народ.

Г. Батиашвили: В доказательство ваших слов не могу не вспомнить один весьма примечательный исторический факт. В 1914 году о нем сообщала читателям газета «Самшобло» («Родина»). Я прочту выдержку из статьи: «На проходившей в 1913 году во Франкфурте конференции, председатель ее генерал Лифмон (Франция), предоставляя слово Давиду Баазову (активный общественный деятель, раввин, отец известного грузинского прозаика и драматурга Герцеля Баазова — Г. Б.), представил его так: Братья! Перед вами стоит ваш брат из далекой страны. Эта страна находится от нас далеко, но она должна быть близка сердцу каждого еврея. Европа сегодня пытается развить в людях любовь друг к другу, а грузинский народ сделал это 2000 лет тому назад. И свидетели тому город Мцхета и его староста-президент, которые хлебом-солью встретили ушедших из Иерусалима евреев. Они живут там и поныне. Хотя много несчастий и перемен произошло в жизни прекрасного грузинского народа, идеалы братства и любви остались для него неизменны. Грузинский народ может с гордостью сказать: У нас были цари, церковь, литература, но у нас никогда не преследовались люди другой национальности, и руки наши не обогреты в пролитой по милости Европы крови. Вот такова страна, откуда прибыл наш гость.

В зале раздались бурные аплодисменты и возгласы: «Да здравствует грузинский народ! Счастья и долголетия грузинам!». У многих на глазах были слезы. Долго не умолкали аплодисменты. Свою речь генерал закончил так: «Дети мои! Да будет для

вас заветом: пусть кто чем может, так и выразит свою любовь к грузинскому народу!».

Илья II: Этим духом проникнуты грузинские евреи, проживающие в Израиле. Во все время моего пребывания в Израиле они не оставляли нас без внимания. В особенности я хочу отметить нашу совместную молитву в Крестовом монастыре, о которой я вам уже говорил.

Когда мы уезжали из Иерусалима, грузинские евреи проводили нас в аэропорт. Представители министерства по делам религий Израиля с удивлением говорили мне, что Израиль посещало много патриархов, но среди встречавших и провожавших они ни разу не видели евреев, которые приехали в Израиль из той страны, откуда был патриарх.

Г. Батиашвили: Удивляться этому может только тот, кто не знает истории взаимоотношений между грузинским и еврейским народами.

Илья II: Да, вы правы.

Г. Батиашвили: Святейший, вы помните нашу встречу в начале октября, перед вашим визитом в Израиль. Я по-прежнему собираюсь писать о грузинском и еврейском народах — и вам, наверное, понятен мой интерес к тому, что там делается, и меня очень интересуют ваши личные впечатления. Какая атмосфера царит там, не слинял ли «грузинский дух», не грозит ли ему какая опасность?

Илья II: Евреи, которые со всех концов света съехались в Израиль, почти всегда плохо отзываются о стране, из которой они приехали. Но грузинские евреи в этом отношении составляют исключение. Наоборот — они пытаются сохранить грузинский язык, грузинские традиции и обычаи. Они создали ансамбль грузинских танцев и песен, разного рода кружки, на грузинском языке ведутся некоторые передачи радио, выходит журнал, газеты, книги. Образовано ими также общество Руставели; общество «Мост». Неподдалеку от Крестового монастыря решено создать мемориал Шота Руставели.

Г. Батиашвили: Я видел проект этого мемориала, и он мне очень понравился.

Илья II: Ежегодно грузинские евреи в Израиле отмечают свой праздник «Картвелоба» («День грузина»). Особенно большими торжествами он был отмечен в прошлом году. Грузинские евреи говорят: «Жили мы в Грузии — нас называли евреями, приехали в Израиль — зовут грузинами». И они гордятся этим, пытаются привить любовь к Грузии и своим детям, родившимся уже в Израиле.

Но вы в какой-то степени правы, опасность того, что слиняет «грузинский дух», существует. Ведь не зря говорится, что время всевластно. Грузинские евреи считают: чтобы этого не случилось, надо поддерживать тесную связь с Грузией. Это единственный путь не потерять друг друга, — говорят они, — мы не должны забывать народ, который исполнен чувствами благожелательности и любви к нам. Мы придерживаемся того же мнения.

Г. Батиашвили: Да, связь поддерживать надо, тем более, что начавшийся в нашей стране процесс перестройки дает нам такую возможность. Я хочу отметить, что народ, в частности еврейский, доволен тем, что происходит в нашей стране — людям дали возможность встречаться друг с другом, ездить друг к другу. И я уверен: масштабы поездок еще более расширятся. Но это одна сторона вопроса, другая, не менее важная, заключается в том, что уехавшие из Грузии евреи могут способствовать экспортированию грузинской культуры. Это будет контактом с евреями, живущими не только в Израиле, но и рассеянными по всем странам Европы и Азии, хотя корни у них все же в Израиле. Чтобы быть конкретным, я приведу один пример. Борис Гапонов перевел «Вепхисткаосани» на еврейский язык, и книга эта тотчас вошла в семьи израильских, американских, английских, французских, испанских и других евреев. Потому что, хоть и проживают они в разных странах, но язык у них один — еврейский. А что значит единство веры и языка, это общеизвестно.

Илья П: Особая вера и любовь требуется от нас сегодня, когда в мире такая сложная обстановка, когда человечество переживает духовный кризис. Мы хотим вернуть Крестовый монастырь и для того, чтоб в этом святом месте возродилась молитва о духовном преображении нашей нации, за мир и справедливые взаимоотношения между народами.

Полные надежды уезжали мы из святых мест. Его святейшество Диодор I устроил в своей резиденции в Малой Галилее прием в нашу честь, на котором присутствовало 700 человек. Среди них были представители всех христианских церквей, мэры многих израильских городов, послы и консулы разных стран, общественные деятели.

Мы тепло распрощались со всеми, с Иерусалимским патриархом, с представителями Русской православной церкви, с римскими католиками и армянами-григорианами, которые проявили исключительное внимание к нам в дни нашего там пребывания.

Так мы оставили Иерусалим, но он стал нам еще ближе.

Г. Батишвили: Святейший, примите мою благодарность за честь, которую вы мне оказали, приняв меня, и за интересную беседу. Вместе с тем хочу Вам сказать: я верю в то, что ваши старания увенчаются успехом. Сегодня для этого есть условия.

Илья П: Да благословит вас Господь! Да благословит Господь наши народы!

РЕПЛИКА

31/VII 1987 г. газета «Литератури Сакартвело» опубликовала мою статью «Время не теряет времени», посвященную проблемам образования. Статья была встречена с интересом, переведена на русский язык и опубликована в журнале «Литературная Грузия» (№10, 1987 г.). Видимо, таким путем статья и стала известной Всесоюзному радио, которое передало отрывок из нее 15/II-1988 г.

По поводу этой передачи я направил руководству Всесоюзного радио нижеследующее письмо:

В РЕДАКЦИЮ ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ ВСЕСОЮЗНОГО РАДИО

В СЕСОЮЗНОЕ радио оказало мне большую честь, передав по своей первой программе мою публицистическую статью. Однако статья была зачитана много времени спустя после ее опубликования, а события, как известно, сменяются чрезвычайно быстро, кроме того, передача не была согласована со мной, — проявление, мягко выражаясь, полного неуважения к автору. Но это — победы. Сорок страниц статьи вы свели до десяти, к тому же, это безжалостное сокращение вы проделали весьма тенденциозно: поднятые в статье проблемы, стоящие перед всей нашей страной, вы представили проблемами республиканского значения, что вызвало раздражение слушателей и поставило меня в очень неловкое положение.

Желательно, чтобы вы сами должным образом квалифицировали столь бестактное отношение к автору и приняли бы соответствующие меры. Я ни разу не обращался к вам с просьбой передать мою статью по радио, но после такой вашей передачи я категорически требую полного прочтения текста статьи.

Гурам ПАНДЖИКИДЗЕ



Галина НЕЙГАУЗ

О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

ПРЕЖДЕ чем начать свои воспоминания, мне необходимо рассказать о сложных перипетиях и взаимоотношениях Пастернака с семьей Нейгауза. В 1929 году друзья Нейгаузов — известный философ Валентин Фердинандович Асмус и его жена Ирина Сергеевна — познакомили Нейгаузов с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Генрих Густавович Нейгауз восторгался поэзией Пастернака, который в свою очередь был большим поклонником исполнительского искусства Нейгауза. Летом 1930 года три семьи — Асмусы, Нейгаузы и Пастернаки — сняли дачи под Киевом в Ирпене. Здесь у Бориса Леонидовича с женой Генриха Густавовича — Зинаидой Николаевной начался бурный роман. Свое восторженное отношение к Зинаиде Николаевне Пастернак выразил в стихах: «Красавица моя, вся суть, вся статья твоя мне по сердцу». Ей же он посвятил сборник «Второе рождение». После бурных страстей и переживаний, в конце 1931 года Зинаида Николаевна выходит замуж за Пастернака. Двух сыновей Генриха Густавовича — пятилетнего Адика и четырехлетнего Стасика — Борис Леонидович берет полностью под свою опеку и бережно заботится о них.

Осенью 1931 года Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной и Адиком, мальчиком общительным, обаятельным и жизнерадостным, едут в Грузию. Там их окружают большим вниманием, теплотой и восторженным отношением. С этого

момента Пастернак страстно полюбил Грузию. У него завязались теплые дружеские отношения со многими грузинскими поэтами. Тяжело переживал Пастернак гибель Паоло Яшвили и Тициана Табидзе. Большая дружба с Георгием Леонидзе и Симоном Чиковани продолжалась всю жизнь.

По прошествии нескольких лет дружеские отношения восстановились и с Генрихом Густавовичем.

В 1940 году Адик заболел туберкулезом. Борис Леонидович проявлял большую заботу о нем. В июле 1941 года Пастернак отправляет Зинаиду Николаевну с двумя сыновьями — Стасиком и трехлетним Леней — его и Зинаиды Николаевны сыном — в эвакуацию, а сам регулярно навещает Адика, находящегося в то время в больнице под Москвой. Большим горем для Бориса Леонидовича была смерть Адика в 1945 году. На его похоронах я единственный раз в жизни видела рыдающим Бориса Леонидовича.

Еще до войны я жила в одном доме с Нейгаузами — второй семьей Генриха Густавовича — и была дружна со Стасиком, который часто приезжал к своему отцу. Во время эвакуации мы со Стасиком переписывались, а когда он вернулся, стали часто общаться (это был 1943 год и нам было по шестнадцать лет).

Новый 1944 год я встречала со Стасиком у Асмусов. Чувствовала я себя очень неловко, так как молодежи, кроме нас, не было. Да и взрослых было всего четыре человека — Асмусы и Пастернаки. Борис Леонидович сразу заметил мою скованность и стал изредка ко мне обращаться, втягивая в общий разговор. Стихов Пастернака я в то время не знала, так как его почти не печатали, а прежние сборники были редкостью. Асмусы, будучи страстными поклонниками поэзии Пастернака, знали массу стихов наизусть и много в этот вечер читали. Борис Леонидович был очень радостным, шумным, шутил, читал свои новые стихи и почему-то страшно обрадовался, узнав, что я не знаю его стихов. Он стал даже меня оправдывать, говоря, что ранний период его творчества сложный, наверное, не всем понятен; да и сам он теперь стихи того времени не любит! И тут же добавил: «Вот этим летом вышел маленький сборник, и я вам его обязательно подарю». (Это был сборник стихов «На ранних поездах». Борис Леонидович действительно подарил мне через несколько дней целую стопку книжек, на каждой расписался и просил передать их всем моим друзьям). Сначала Пастернак мне показался очень некрасивым — вытянутое лицо, тяжелая челюсть, крупный

нос, гудящий голос, речь тягучая — нараспев. К манере его говорить нелегко было привыкнуть. Да и понять было довольно трудно, так как он быстро переходил от одной мысли к другой, иногда как будто бы отвечая на какой-то свой внутренний вопрос. Однако, когда читал стихи, лицо его преображалось, глаза сияли и в них появлялась почти детская доброта и теплота. С ним становилось легко. Впоследствии я убедилась, что Борис Леонидович располагал к себе всех, при этом существовала какая-то грань, отделяющая его от окружающих.

Следующий Новый год мы со Стасиком встречали у Пастернаков на даче в Переделкине. В то время Пастернаки зимой на даче еще не жили, однако в доме стояла огромная елка, стол был красиво накрыт, и были гости. Из «молодежи», кроме нас, был Леня, которому в Новый год исполнилось восемь лет. На этот раз из гостей были Погодины, Асмусы и Лариса Ивановна Тренева. Среди ночи зашел Константин Александрович Федин, сосед по даче. Борис Леонидович ему очень обрадовался. Начался разговор о литературе, и я сказала что-то восторженное по поводу только что прочитанного романа Федина «Города и годы». Борис Леонидович радостно поддержал меня и посоветовал еще прочесть «Братья», сказав, что там много интересных мыслей об искусстве. (Эту книгу Константин Александрович впоследствии подарил нам с надписью: Гале и Стасику — сердечно. К. Федин. VIII — 1948 г.). Пастернак стал утверждать, что проза гораздо сильнее поэзии, в нее можно больше вложить мыслей, она более объемна и доходчива. И тут я впервые услышала, что Борис Леонидович пишет роман.

В 1946 году мы со Стасиком поженились, и в течение 14 лет — с 1946 года по 1960 год — я прожила под одной крышей с Борисом Леонидовичем Пастернаком в Переделкине. На даче мы жили по полгода каждое лето — с мая по октябрь. Зимой же приезжали туда на все праздники: Новый год, дни рождения, Пасху, Рождество, которые очень любил Пастернак и на которых обычно бывали близкие ему люди. Сейчас уже никого не осталось, кто знал бы так близко Бориса Леонидовича в повседневной жизни, как довелось это мне.

В Переделкине Стасик много занимался. Борис Леонидович часто, возвращаясь с прогулки, останавливался у двери комнаты, где занимался Стасик, и, затаив дыхание, слушал. Как-то Пастернак принес статью, написанную в 1945 году к 125-летию со дня рождения Шопена (это был машинописный


текст с его карандашными пометками и исправлениями) и подарил Стасику с надписью: «Новому и восхитительному союзнику-Стасику и его Гале с давно им известной и еще неизвестной любовью».

Несмотря на большую занятость, Борис Леонидович из Переделкина ездил в Москву на концерты Станислава и часто после концерта бывал у нас дома, где собирались наши сверстники — актеры, музыканты и старшее поколение — Нейгаузы, Ливановы, Погодины, Габричевские. Иногда после концерта мы все ехали в Переделкино. В один из таких вечеров собралось много молодежи. После ужина все стали просить Пастернака почитать стихи. Он сразу согласился. Мы слушали, как замороженные — стихи читал он из разных лет и несколько из романа. Но вдруг его прервал молодой актер МХАТа и сказал, что лучше, если будет читать он, то есть актер. Пастернак очень обрадовался, хотя мы были растеряны от такой бестактности. Борис Леонидович поднялся к себе в кабинет и принес томик стихов. Актер читал плохо, жестикулируя. Чувствуя общую неловкость и смущение, Борис Леонидович после окончания чтения стал ободрять актера (который так и не понял, что читал плохо), говоря, что такая манера чтения необычна и интересна, чем снял общее напряжение.

У Бориса Леонидовича был строгий режим: вставал он в восемь часов, делал зарядку, обливался холодной водой во дворе, завтракал, шел на огород (полыл или копал), затем поднимался к себе наверх в кабинет и работал до часа, затем гулял. Ровно в три часа был обед (Борис Леонидович очень не любил, если кто-нибудь из нас опаздывал). К этому времени стол был уже накрыт. За обедом Борис Леонидович часто рассказывал о письмах, которые он получал от своих почитателей (на все письма он находил время отвечать). После обеда Борис Леонидович ложился на час отдыхать. Потом заваривал себе чай и шел опять работать. В восемь часов Пастернак шел гулять и возвращался к ужину после десяти часов. Изменения такого режима были очень редки. Зинаида Николаевна строго следила за тем, чтобы ничто не мешало работать и не срывало режима, и это Борис Леонидович очень ценил.

Зинаида Николаевна была гостеприимна — одинаково принимала и наших друзей и своих гостей. В праздник стол был накрыт особенно красиво, чем гордился Пастернак, называя его «произведением искусств».

Марина, наша дочка, была единственной внучкой Зина-



иды Николаевны при жизни Бориса Леонидовича (Леня женился уже после смерти отца), поэтому ей уделялось много внимания. С ее трехлетнего возраста Зинаида Николаевна стала устраивать детские елки. К ним готовились заранее. Зинаида Николаевна покупала подарки детям, из леса приносили огромную елку, которую мы все украшали. Ирина Николаевна Пастернак, жена брата Бориса Леонидовича, организовывала детские развлечения, с детьми постарше ставила даже спектакли, для которых шили костюмы. Активное участие в массовых сценах принимали и малыши. За танцы и чтение стихов дети получали награды. В конце праздника раздавали всем подарки. Приглашали внуков всех соседей, а некоторые дети приезжали даже из города. Крика, шума и радости была масса. Во всем как активный зритель принимал участие Борис Леонидович (родителей на праздник не приглашали и дети веселились одни под нашим присмотром). Борис Леонидович спешил на помощь, если кто-то падал, подсказывал стихи, смутившихся подбадривал. Как он говорил, ему все это напоминало его детство. Когда все счастливые и довольные расходились по домам, мы еще долго вспоминали детское веселье, а Борис Леонидович даже копировал «чтецов» и очень сам смеялся.

Я не помню Зинаиду Николаевну сидящей без дела — она или убирала, или готовила (несмотря на то, что на даче всегда были работницы), или работала на огороде. Вечерами обычно играла в карты с Бертой Яковлевной Сельвинской и Ларисой Ивановной Трениной — это у них было как серьезное дело, и если кто-нибудь почему-то не мог, то сажали за карты меня и даже Леню. Необщительная и суровая по натуре Зинаида Николаевна могла часами рассказывать о своей жизни, Генрихе Густавовиче, Борисе Леонидовиче и всех перипетиях их жизни. На мой вопрос, кого же она любила, ответила уклончиво — «С Борей, как за каменной стеной — все заботы он всегда берет на себя».

В доме обычно царила тишина, была идеальная чистота и порядок. Я никогда не слышала повышенного, раздраженного тона у Бориса Леонидовича — все свои взаимоотношения с Зинаидой Николаевной они выясняли наверху в кабинете. Однако Борис Леонидович очень мучился, когда Зинаида Николаевна становилась особенно мрачной, то есть сердилась на него. Как-то мы с Борисом Леонидовичем были вдвоем и он сказал: «Почему такая несправедливость?! Ведь в жизни каждый кого-то обижает и все забывается. А я дважды обидел

близких людей и всю жизнь чувствую свою вину и все время мучаюсь!»

Широте и щедрости Пастернака не было предела даже в самое трудное для него время. Борис Леонидович всю жизнь содержал свою первую жену Евгению Владимировну; не разрешал Зинаиде Николаевне брать деньги у Генриха Густавовича и содержал сам обоих его сыновей (дети ни в чем не чувствовали недостатка, у них всегда были карманные деньги, хотя в то время, как я их помню, им было всего 12-13 лет). По полгода он содержал нашу семью. Когда же Борис Леонидович узнал, что Зинаида Николаевна в порядке воспитания в нас ответственности за свою семью решила брать с нас деньги — он очень рассердился. Все наши поездки с Зинаидой Николаевной и Леней на юг он целиком оплачивал. Сам же Пастернак в этот период был очень стеснен в материальном отношении и зарабатывал в основном переводами. В Переделкино мы перевезли свой «разбитый» рояль, и Стасик на нем занимался. Как-то Борис Леонидович сказал, что рояль необходимо заменить, так как Стасик уже созревший пианист и должен иметь хороший инструмент. Рояль поехала покупать Зинаида Николаевна, а для консультации с ней поехал Генрих Густавович. У нее не хватило денег и она взяла их у Генриха Густавовича, считая, что он тоже должен в этом участвовать. Я не помню Бориса Леонидовича таким рассерженным как тогда, когда он узнал об этом. В мае 1953 года у Стасика были гастроли в Тбилиси и мы взяли с собой Леню (ему было 15 лет). Борис Леонидович дал ему деньги, чтобы Леня чувствовал себя самостоятельным и взрослым. Как я была поражена и тронута, когда в день моего рождения в Тбилиси Леня сделал мне подарок от себя и Бориса Леонидовича по его поручению. Семье Тициана Табидзе, когда его арестовали и окружающие боялись проявлять какое бы то ни было к ним участие, Пастернак помогал регулярно материально и морально, и это продолжалось всю жизнь.

Как-то осенью, кажется, в 1947 году, к даче подошел странный человек: на нем была рваная телогрейка, кирзовые сапоги, сам заросший щетиной, с коротко остриженными волосами. Он попросил позвать Пастернака. Борис Леонидович быстро спустился из кабинета и раздетым вышел во двор. Я видела, что он звал этого человека в дом, но тот упорно отказывался. Довольно долго простояв во дворе, Борис Леонидович поднялся к себе и вынес оттуда свое пальто, костюм и еще какие-то вещи. Все это он передал ожидающему его че-

ловеку. Пастернак вернулся очень расстроенным и я не стала даже спрашивать, кто это был. За ужином Борис Леонидович сам рассказал о тяжелой жизни учителя из провинции, о его аресте, лагерях. Будучи страстным поклонником Пастернака, ему удалось в ссылке сохранить сборник стихов, и ими он только и жил. Его волновало одно — вдруг он так и не увидит великого поэта. Поэтому прямо из лагеря он поехал в Москву, в Переделкино, чтобы сказать Пастернаку «спасибо за его поэзию и за то, что он есть!». Голос Бориса Леонидовича дрожал при одном воспоминании о жизни учителя; а потом Пастернак добавил: «Он знает мои стихи наизусть, даже те, которые я совсем забыл». Борис Леонидович подписал ему истрепанный сборник, подарил свои новые стихи и дал денег на дорогу, хотя тот упорно от них отказывался. Несколько лет учитель писал Борису Леонидовичу, и он каждый раз об этом рассказывал. Учитель писал о чуткости, отзывчивости и доброте Бориса Леонидовича и о том, что «счастлив носить пальто великого во всех смыслах Пастернака и никогда его никаким другим не заменит».

Раза два-три за лето мы ездили в Верею за грибами. В этом обычно принимал участие и Пастернак. Для него каждая такая поездка была событием. Сборы проходили основательно: с вечера готовилась еда, корзины — все аккуратно складывалось. Вставали как только светало — часов в пять утра. По дороге в машине Борис Леонидович не разрешал разговаривать, так как считал, что это отвлекает водителя. В лесу Пастернак наслаждался, уходил от всех в сторону. Собираться мы все должны были к 10 часам для завтрака. Корзина у Бориса Леонидовича всегда была полной. Однако есть грибы он не любил. Во всех других наших поездках никогда не участвовал. Иногда за грибами с нами ездил и Генрих Густавович. Правда, Пастернак не был от этого в восторге, как мы, Генрих Густавович к сбору грибов относился несерьезно: собирал много поганок и не приходил вовремя к завтраку (его всегда надо было искать). В Переделкине у Пастернаков Генрих Густавович бывал каждое лето, приезжал часто и для всех это было большой радостью.

Видя Нейгауза и Пастернака вместе, нельзя было не поражаться яркости и незаурядности этих натур, но особенно бросалось в глаза то, что они были абсолютно непохожи друг на друга. При всей общности духовных интересов, взглядов и при том, что они понимали друг друга с полуслова, это были совершенно разные люди: живой, искрящийся остроумием

и энергией, вспыльчивый и неотразимый в своем обаянии Генрих Густавович — и погруженный в свой внутренний мир, одухотворенный и по-детски доверчивый, восторженный Борис Леонидович, придающий огромное значение режиму, до невероятности пунктуальный и дисциплинированный; Генрих Густавович же, напротив, не переносил ничего однообразного и ограниченного определенными рамками, а любил все делать «экспромтом»; однако ко всему, не свойственному ему самому, относился с большим уважением.

Во время работы над книгой «Об искусстве фортепианной игры» Генрих Густавович читал отрывки Пастернаку. Тот приходил в восторг от легкости, с какой писал Генрих Густавович — без черновиков, без повторной обработки рукописи. Часто Пастернак останавливал чтение восклицанием: «Это гениально! В одной фразе выражено столько нюансов, глубины, мысли!». Генрих Густавович бывал до того растроган похвалой, что на глазах у него появлялись слезы.

В Переделкино Генрих Густавович привозил своих учеников — с ним часто бывал там Святослав Рихтер.

Большой любовью Пастернак пользовался у местных жителей — при встречах они его радостно приветствовали, и он часто с ними беседовал; на любые просьбы всегда откликался. Этими общениями Пастернак гордился и дома обычно о своих беседах рассказывал.

У Бориса Леонидовича было два молодых друга — мальчики лет четырнадцати-пятнадцати, с которыми он многое обсуждал «на равных». Ими он гордился и часто о них рассказывал. Одним из этих мальчиков был Андрюша (Андрей Вознесенский), вторым — Кома (Вячеслав Иванов — сын Всеволода Иванова).

Андрюшу считал очень талантливым, но огорчался, что он находится немного под его влиянием, и считал, что в будущем из него выйдет большой поэт, если он целиком займется поэзией (Андрей в то время собирался поступать в Архитектурный институт). Несколько раз Андрей был в гостях на даче, и Пастернак представлял его с большой гордостью и теплотой как своего ученика.

Кома Иванов был соседом по даче, и поэтому их можно было часто видеть гуляющими вместе вдоль поля, которое находилось против ряда писательских дач. Необычно выглядела эта пара — два таких разных по возрасту человека, с увлечением о чем-то беседующих. Кома был рядом с Пастернаком и в самые тяжелые времена, когда даже маститые пи-

сатели отвернулись от него, боясь показать хотя бы свое сочувствие (во время присуждения Нобелевской премии!). Как-то Всеволод Вячеславович Иванов, будучи в гостях у Пастернаков, сказал: «Единственное, что я сделал хорошего в жизни, это родил тебе, Боря, сына». В этой шутке была доля правды, так как Борис Леонидович действительно очень любил Кому и был с ним близок, несмотря на разницу в возрасте.

Большой радостью для Пастернака был приезд гостей — он внимательно следил, как накрыт стол, удобно ли все разместились, хорошо ли чувствуют себя. Особенно его радовали приезды грузинских поэтов — за столом становилось шумно, весело. В Переделкине часто бывали Георгий Николаевич и Евфимия Александровна Леонидзе (иногда с дочерью Писо), Марика и Симон Чиковани, Бесарион Жгенти, Григол Абашидзе. Незадолго до трагической гибели в Переделкине была Ната Вачнадзе, о которой Пастернак сказал, что «ее красота вызывает желание стать на колени» (что он и сделал!). Поэты читали стихи, Борис Леонидович — переводы с грузинского и свои новые стихи, многие из них были из «Доктора Живаго». О переводах Пастернака Бараташвили и Важа Пшавела Леонидзе говорил, что «они не уступают оригиналам», и его поражает, насколько близок Пастернаку дух Грузии, ее народ и поэтичность. Застолья с грузинами обычно длились всю ночь, иногда они пели народные песни, от чего у Пастернака появлялись слезы. Обращаясь ко всем, он говорил: «Как это прекрасно! Ради этого уже стоит жить!».

Частыми гостями в Переделкине бывали Ливановы, Нейгаузы, Юдина, Рихтер и Дорлиак, Ивановы, Погодины, Асмусы, Андрониковы, Вильямы-Вильмонты, Федин (он обычно приходил на дни рождения), Журавлевы. Несколько раз были: Ахматова, Берггольц, Луговской, А. Тарковский, Ариадна Цветаева. После премьер спектаклей «Мария Стюарт» и «Макбет» собирались актеры МХАТа и Малого театра. В эти дни Пастернак бывал на особенном подъеме, восторгался игрой актеров, был, как ребенок, непосредственным и счастливым. Поразительно было то, что Борис Леонидович умел сказать при тосте о каждом что-то очень теплое, личное, присущее именно тому человеку, о котором говорил, а не общие фразы.

Как-то в один из праздников в Переделкине собралось много гостей. Мария Вениаминовна Юдина сыграла всю программу своего предстоящего концерта, а после этого еще читала стихи Пастернака, что очень смутило Бориса Леонидовича. После чтения все перешли в столовую. Зинаида Николаев-

на рассадила гостей. Обычно она сидела во главе стола, справа от нее — Леня, потом Борис Леонидович, слева — Стасик и я. Далее она посадила чтеца Глумова, Анну Никандровну Погодину, Александра Леонидовича и Ирину Николаевну Пастернаков, а затем сидели — Погодин, Федин, Ливановы, Генрих Густавович, Ахматова и Берггольц. Глумов что-то долго бурчал, а потом, выпив, сказал, обращаясь к Зинаиде Николаевне, что возмущен тем, что его посадили не среди почетных гостей. Наступила полная тишина. Борис Леонидович встал из-за стола, подошел к Глумову и резко сказал: «Вы сидели более почетно — среди близких нашему дому людей. А теперь прошу Вас покинуть мой дом». После ухода Глумова вместо неловкости все развеселились, а Федин сказал: «Боря! Ты был прекрасен!» — и это было действительно так. На следующий день Глумов прислал письмо с просьбой его извинить, но Борис Леонидович так с ним больше никогда не разговаривал, не смотря на то, что вообще был очень отходчив.

Несколько раз мы пытались записать на магнитофон Пастернака, но техника в то время была такая громоздкая, что спрятать ее не удавалось, а видя магнитофон, Борис Леонидович сразу начинал протестовать, говоря, что у него и отвратительный голос, и он не умеет говорить. Фотографировать же Пастернака хорошо удавалось только Стасику, так как при нем Борис Леонидович не напрягался и чувствовал себя свободно. Мучительны были для него сеансы позирования при работе скульптора, так как жалел потерянное для себя время и не считал, что его внешность скульптурна.

Борис Леонидович был очень не требователен не только к повседневной еде, но и к одежде. У него был один выходной костюм, домашняя одежда, всегда идеально отглаженные рубашки и две-три пары обуви, тоже в аккуратном состоянии. Я не помню Бориса Леонидовича небрежно одетым даже в повседневной жизни — всегда подтянутый. В 1953 году Стасик из Парижа привез ему серую куртку, которую он почти не снимал, очень ее любил и чувствовал себя в ней уютно; при гостях, а позже при журналистах он был всегда в ней.

Непосредственные и даже доверительные отношения у меня с Борисом Леонидовичем сложились не сразу. Всю жизнь он ко мне обращался на «вы», чему не раз удивлялся его брат Александр Леонидович. В начале 1950-х годов произошел неприятный инцидент у меня с Зинаидой Николаевной, сильно изменивший наши взаимоотношения с Борисом Леонидовичем. С утра она была чем-то раздражена (когда мы поздно вставали,

особенно сердилась). Резким тоном Зинаида Николаевна стала мне говорить, что мы не любим природу, с утра работать на огороде, как она, рано вставать и вообще в жизни нас ничего не интересует. На это я ответила: «Нас многое интересует — мы любим читать, слушать музыку». В это время в комнату вошел Борис Леонидович, и Зинаида Николаевна сказала: «Галя говорит, что мы должны работать на них, а они только наслаждаться жизнью». Я была так возмущена и обижена таким искажением нашего разговора, что в слезах выбежала из комнаты. Пастернак сразу же вышел за мной и начал успокаивать. Сквозь слезы я стала объяснять, что разговор был совсем не такой. Он меня обнял и сказал: «Неужели вы думаете, что я могу поверить в то, что сказала Зина! Я вас достаточно знаю. А Зина вообще способна любой разговор перевернуть так, как ей хочется». Это был единственный случай, когда Пастернак сказал о Зинаиде Николаевне осуждающим тоном. С этого момента у нас с Борисом Леонидовичем установились свои теплые, непосредственные отношения. Он стал часто со мной наедине разговаривать, я же о многом его расспрашивать, чего не решалась раньше, так как ощущала какую-то границу между нами. Странно было еще то, что Пастернак, безумно любя Ленью, редко с ним общался, не проявлял внешнего внимания, но страшно гордился и весь сиял, когда кто-нибудь восхищался Ленией. Наша дружба с Ленией и мое опекаание его (Леня был очень застенчивый мальчик, довольно одинокий, и тянулся к нам) Бориса Леонидовича радовало. Если Леня заболел, то Борис Леонидович поднимал такую панику, от которой терялась даже Зинаида Николаевна.

Однажды Пастернак, говоря со мной о Стасике, заметил: «Талант дается богом только избранным, и человек, получивший его, не имеет права жить для своего удовольствия, а обязан всего себя подчинить труду, пусть даже каторжному. По этому поводу у меня есть стихи». Он позвал меня к себе в кабинет и прочел стихотворение: «Не спи, не спи, художник».

В 1949 году Стасик первым прошел по конкурсу внутри Союза на Шопеновский международный конкурс. За день до вылета в Польшу ему сообщили, что он не едет, не объяснив причины. Стасик был страшно подавлен, я же не могла верить в такую несправедливость! Мы поехали в Переделкино. Зинаида Николаевна сразу же решила идти к Фадееву и просить его заступиться за Стасика. (Несмотря на то, что Фадеев был соседом по даче, у Пастернаков в гостях при мне он никогда не бывал, однако, проходя иногда через участок Пастер-

наков, он останавливался и беседовал с Борисом Леонидовичем, Стасика же знал с четырехлетнего возраста). Мы написали письмо к Абакумову, председателю КГБ, и с этим письмом Зинаида Николаевна решила пойти к Фадееву, чтобы он подписал. Услышав это, Борис Леонидович страшно вспылал, говоря, что надо уметь гордо выносить всякую несправедливость; кроме того, любой конкурс не является настоящей оценкой человеческого таланта и, зная Стасика, считает, что он и без конкурса сможет получить большое признание, если по-прежнему будет много работать, а не станет в позу обиженного. Письмо без подписи Фадеева и по секрету от Бориса Леонидовича и Стасика мы все-таки отправили. Ответа, конечно не получили.

Были разговоры, которые меня очень интересовали, и я их прекрасно помню. Как-то Борис Леонидович рассказал о разговорах по телефону со Сталиным. Об одном разговоре я хочу рассказать. Со Сталиным его соединил Поскребышев — секретарь Сталина. В то время Пастернак жил в общей квартире в связи со вторым браком (это были 30-е годы). Телефон стоял в коридоре. Борис Леонидович очень растерялся и начал говорить, что ему о многом хотелось сказать, но «из всех дверей высунулись соседи и ему трудно говорить. Хорошо было бы встретиться». На это Сталин ничего не ответил, а после паузы сказал, что один его друг пишет стихи, и ему хотелось бы знать мнение Бориса Леонидовича о них. Поняв, что стихи самого Сталина, Пастернак долго и сложно, как он сам говорил, начал объяснять, что ему трудно судить о чужих стихах. Потом Сталин спросил, есть ли у Пастернака в чем-нибудь нужда? Еще больше растерявшись, он почему-то сказал, что у него все в порядке, хотя жилищные условия были ужасные. Через несколько дней Пастернаку привезли стихи. Стихи оказались довольно примитивные и неинтересные. Борис Леонидович мучительно думал, как ему об этом сказать, но звонка долго не было, и он успокоился, решив, что уже все забыто. Неожиданно раздался звонок. И вот тут Пастернак решительно сказал, что стихи плохие и «пусть его друг лучше занимается другим делом, если оно у него есть». Помолчав, Сталин сказал: «Спасибо за откровенность, я так и передам!». После этого Пастернак ожидал, что его посадят. Но жизнь проходила спокойно, он получил квартиру в Лаврушенском, его по-прежнему печатали.

С болью рассказывал Борис Леонидович случай с Константином Александровичем Фединым. Как-то поздно вечером к даче подъехал, как его тогда называли, «черный ворон». Федин

ну, предъявив ордер на арест (он его даже не прочел), дали двадцать минут на сборы. Жена Федина, Дора Сергеевна, дрожащими руками собрала узелок с бельем. Федин, взяв узелок, с гордым видом и высоко поднятой головой медленно направился к машине. Один из сотрудников раздраженно сказал: «По-быстрее, товарищ Пильняк!». Федин остолбенел. Прочитав ордер, он сказал: «Плохо работаете, товарищи!» и медленно вернулся обратно. О поведении Федина Борису Леонидовичу на следующее утро подробно рассказала Дора Сергеевна, которая от одного воспоминания была вся в слезах. Так стало известно Пастернаку об аресте Пильняка.

После войны начались новые репрессии. Пастернак тоже волновался. Самым ценным для себя он считал письма Марины Цветаевой. Он вообще чувствовал свою вину перед ней. Когда она вернулась из-за границы, Борис Леонидович не смог уделить ей должного внимания по многим семейным обстоятельствам. Даже перед отъездом Марины Цветаевой в Елабугу Пастернак с ней так и не встретился и ни в чем не помог (эвакуация всех писателей была срочная, пришлось спешно отправлять семью). Это его угнетало всю жизнь. Письма Цветаевой из-за границы он очень берег. К Борису Леонидовичу приходили две страстные поклонницы, сотрудницы музея Скрябина. Они часами сидели около дачи (Зинаида Николаевна в дом их почему-то не пускала!), часто беседуя с Пастернаком и читая ему взахлеб его же стихи. Он знал их преданность («За меня они готовы жизнь отдать,» — говорил Пастернак; наверное, так это и было). И вот, в эти тяжелые времена Борис Леонидович дает одной из поклонниц портфель с письмами Цветаевой для сохранения — если и его арестуют. Она портфель не выпускает из рук — ходит с ним в музей, а на ночь кладет под подушку. Однажды в страшной истерике она врывается в дом (даже Зинаида Николаевна отступила и пожалела ее!), и сквозь рыдания рассказывает: жила она за городом и после работы, поздно вечером, возвращалась домой. Утомленная, в электричке заснула в обнимку с портфелем. Проснувшись на последней остановке и перепуганная выскочила, оставив портфель. Поезд ушел в тупик. Несколько часов, когда уже стало светать, она бродила по рельсам, отыскивая тот состав и проходя по всем вагонам (с ней ходил служащий со станции), так ничего и не нашла. Для Бориса Леонидовича это был сильный удар, однако он сам ее успокаивал. Письма так и пропали. Долго еще Борис Леонидович надеялся на возвращение писем! Все это происходило на моих глазах.

Были у нас и задушевные разговоры, и по-моему Пастернак с удовольствием отвечал на мои расспросы. Как-то я спросила — крещен ли он и верит ли в бога? Борис Леонидович ответил, что не крещен, но это не имеет никакого значения, так как это только форма, а в бога верит, как во что-то совершенное и что смерть — не конец, а только переход из одного состояния в другое, и поэтому она ему не страшна. «Свое отношение к религии я выразил в «Докторе Живаго», — сказал он.

Однажды Пастернак застал меня за чтением «Войны и мира» и сказал, что не может себе позволить перечитывать Толстого, так как слишком любит его и боится поневоле попасть под его влияние, что может отразиться на романе, который он пишет. И когда я стала расспрашивать, Пастернак предложил мне читать «Доктора Живаго» по мере отпечатывания (печата-ла вдова Ходасевича — она очень бедствовала, и Пастернак таким образом старался ей помочь). С этого момента мы много говорили о романе. Борис Леонидович говорил, что самая большая его мечта — это опубликование «Доктора Живаго», так как он придает роману большее значение, чем всем своим стихам. «Это цель моей жизни,» — сказал он.

За период с 1949 по 1953 год вышло несколько больших переводов Пастернака. Каждую книгу Борис Леонидович дарил нам и обязательно с автографом. Шекспира «Генрих IV» — Пастернак подписал: «Гале и Стасику от любящего их Б. П. 7 янв. 1949 г.»; Гете «Избранные произведения» — «Дорогим Гале и Стасику с постоянной и заслуженной нежностью. Б. Пастернак, 11 мая 1950 г.»; Шекспира «Избранные произведения» — «Гале и Стасику, детям непослушным и очаровательным, которых я люблю в периоды их лада и согласия. Б. Пастернак. 8 янв. 1953 г.». Эти книги я бережно храню! К сожалению, роман «Доктор Живаго» — первое издание в Италии Пастернак не подписал, так как это было трудное время и в Советском Союзе роман не был издан.

С конца 1946 года Пастернак начал читать в Переделкине первую часть романа, приглашая людей, мнением которых дорожил. Чтение проходило торжественно, Борис Леонидович очень волновался, читал с выражением — от имени каждого персонажа, иногда у него даже перехватывало горло и голос дрожал. После чтения с благодарностью выслушивал каждого и был счастлив.

В 1948 году, когда «Доктора Живаго» собирались публиковать в «Новом мире», Борис Леонидович очень нервничал,

часто ездил в Москву к машинистке, досконально все проверял. Однажды зашел Константин Александрович Федин и они долго разговаривали в кабинете. Когда он ушел, Пастернак сказал, что не ожидал от Федина, такого большого писателя, настойчивых просьб убрать из романа некоторые серьезные суждения и мысли, без которых роман просто потеряет свой смысл. Конечно, Пастернак категорически отказался что бы то ни было изменять. Он предпочел, чтобы роман вообще не был опубликован (переговоры длились довольно долго!).

В 1956 году, кажется в мае, на дачу приехали два итальянца. Пастернак поднялся с ними наверх в кабинет, они долго там говорили и, спустившись, быстро ушли, а Борис Леонидович через некоторое время пошел гулять. Мы со Стасиком после обеда поехали в Москву на машине. По дороге около пруда нас остановил Борис Леонидович. Он был взволнован и сказал, что поедет с нами в Москву, так как ему надо к Покровским воротам (такого до сих пор никогда не было — он всегда ехал с шофером на своей машине и с утра уже готовился к поездке!). Вопреки своим правилам не разговаривать в машине, так как это отвлекает водителя, он вдруг сказал: «А знаете, что я сейчас сделал? Только никому не говорите и даже Зине, а то она просто умрет от страха! Я отдал роман итальянцам! Они приехали от самого известного издателя в Италии Филтринелли с просьбой дать им «Доктора Живаго» для опубликования». Пастернак стал подробно рассказывать о разговоре — Филтринелли издает роман якобы без ведома Пастернака и имеет право по письму Бориса Леонидовича передавать «Доктора Живаго» в издательства любой страны для опубликования. Гонорар получает от издателей Филтринелли и распоряжается им, как считает нужным. (В те годы за публикации за границей советским писателям не платили, поэтому этот вопрос с Пастернаком был решен просто. Однако, как потом писал Филтринелли, все деньги, полученные за публикацию романа, кроме какого-то процента посреднику, Филтринелли клал в банк на имя Пастернака, хотя он упорно сопротивлялся). От такого сообщения мы со Стасиком были в панике, а Борис Леонидович, как ребенок, радовался впечатлению, которое произвел на нас. Потом он стал говорить, что морально и этически прав, потому что писал для того, чтобы люди читали, а у нас отказались публиковать. Он даже сказал, что, возможно, роман был бы у нас не всем интересен, однако любому автору важны мнения читателей, иначе бессмысленна вся его работа. Относительно мирно, однако совсем не спо-

койно прошло почти два года. Борис Леонидович получал письма из-за границы, очевидно, от читателей, но о них уже не рассказывал, ибо эта тема была для нас «запрещенной», — Зинаида Николаевна не знала о том, что роман публикуется за границей, а когда узнала, то долго не разговаривала с Борисом Леонидовичем. В этот период Пастернака особенно радовали письма, на все он, по своему обычаю, отвечал. Однако внутреннее нервное напряжение было постоянно — глаза часто бывали грустными, иногда он бывал даже резок с близкими — это особенно ощущали и Ленья, и Зинаида Николаевна.

В 1957 году Пастернак тяжело заболел. Самоотверженно ухаживала за ним Зинаида Николаевна даже тогда, когда он был в больнице. И в больнице, а потом в санатории «Узком», он тосковал по своему кабинету в Переделкине и все время рвался домой. После больницы и санатория, где был Пастернак с Зинаидой Николаевной, он опять начал много работать, в основном над переводами, однако быстро утомлялся. Гости Бориса Леонидовича стали раздражать. В это время у него испортились отношения с Генрихом Густавовичем — они часто спорили из-за «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, которого боготворил Нейгауз и большие куски из романа читал наизусть, что Пастернака раздражало и он бывал даже резок. Нас всех это очень огорчало. Генрих Густавович стал редко бывать на даче. Реже приезжали и Ливановы, и Асмусы.

На именины 23 октября 1958 года Зинаида Николаевна позвала только нас. Каково же было наше удивление, когда мы увидели ярко освещенную столовую, стоящего посреди комнаты сияющего и радостного с бокалом в руке Пастернака и обнимающего его, тоже с бокалом в руке, Корнея Ивановича Чуковского, который обычно на празднествах у Пастернаков не бывал. Около стола — тоже радостные и возбужденные — Зинаида Николаевна и Нина Александровна Табидзе. Нам сразу же объяснили, что приезжали иностранные журналисты и сообщили, что по радио объявлено о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Их всех фотографировали, у Бориса Леонидовича брали интервью. Пришли поздравлять и Ивановы, и Федин, который все-таки был напряжен и взволнован, так как боялся реакции Союза писателей. Уже на следующий день к Федину приехали из ЦК КПСС какие-то люди, он позвал к себе Пастернака, и они начали его убеждать отказаться от Нобелевской премии, так как роман «Доктор Живаго» у нас не опубликован и премия является политическим выпадом по отношению к Советскому государству. Огорченный и подавленный, Пастер-

нак поехал в город отправлять телеграмму об отказе от премии. Однако Комитет по Нобелевским премиям отказа не принял. Телеграммой Пастернаку сообщили, что он должен будет приехать в Швецию на торжественное вручение премии. На вручение, естественно, он не поехал.

Идейными руководителями всей кампании против Пастернака были заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов, который неоднократно вызывал к себе Бориса Леонидовича, и первый секретарь ЦК комсомола Семичастный, который яростно расправлялся с ним в печати. Уже 27 октября было вынесено постановление Президиума правления Союза писателей об исключении Пастернака из членов Союза.

В течение двух недель мы со Стасиком почти безвыездно жили на даче. На Бориса Леонидовича было страшно смотреть, так он был измучен. Однако он ни разу не впал в отчаяние и не отступил от своих принципов, держался очень стойко. После одного из вызовов в ЦК и настойчивого предложения выехать за границу Борис Леонидович начал терять мужество и был очень угнетен. Растерянно он спросил Зинаиду Николаевну и Леню — «поедут ли они с ним, если его насильно отправят?» Зинаида Николаевна категорически отказалась, Леня промолчал. Это его еще больше подавило. Первый раз у меня появилась почти физическая боль за него. Он всегда умел переносить стойко любые сложности и тяжести в жизни, а в этот момент не смог скрыть своих страданий от несправедливости и ощущения одиночества. В газетах печатались выступления рабочих, колхозников, деятелей культуры с гневными требованиями изгнать Пастернака из Советской страны как предателя Родины.

Я была в Москве по делам и ехала в автобусе. Какой-то пассажир начал вслух читать газету своему соседу, в которой последними словами поносили Пастернака, и для наглядности печатались отдельные, вырванные из контекста цитаты. Несколько человек включились в тон газеты и стали высказывать свое возмущение. Тогда я не выдержала и спросила: «А знает ли кто-нибудь роман?» В автобусе наступила тишина, потом один из пассажиров сказал: «Да ведь в газете ясно все сказано! Продал Родину!» Вернувшись в Переделкино, я рассказала случай в автобусе, так как Пастернак уже безразлично переносил всю ругань в печати. Борис Леонидович сказал: «Они не виноваты, так как уже привыкли не разбираться ни в чем, а огульно верить нашим газетам. А возьмите какую-нибудь реплику или рассуждение Григория из «Тихого Дона» отдельно

от текста романа и увидите, что Шолохова можно обвинить гораздо больше, чем меня! Кроме того, я уверен, что если бы роман напечатали, то большинство из тех, кто меня осуждает, и читать не стал бы, им было бы просто скучно, однако реакции такой бы не было». Обстановка накалялась. После яростных нападок в печати Пастернак 31 октября отправляет письмо Хрущеву с просьбой оставить его на Родине, так как на другой земле он не сможет существовать и работать. Вместо ответа Пастернака вызывают в ЦК и предлагают написать покаянное письмо для опубликования в «Правде». Покаянного письма он, конечно, не написал, но попытался объяснить несправедливость обвинений, как говорил Борис Леонидович сразу же по возвращении из ЦК, и выразил просьбу оставить его на Родине. При нем письмо, естественно, сократили, но дали подписать. Письмо было опубликовано 5 ноября. Прочитав письмо, Борис Леонидович сначала огорчился, так как ему показалось, что он не совсем так написал. Успокоился он тем, что теперь его оставят в покое. Самые тяжелые дни прошли. Огорчало Пастернака и то, что к нему в то время боялись заходить даже соседи. Исключением были Ивановы, которые очень поддерживали его морально и регулярно бывали на даче.

Жизнь вошла в прежнее русло, но Борис Леонидович был уже не тот. Временами у него болела нога, иногда сердце, глаза часто бывали грустные, и работать он стал меньше, хотя режим по-прежнему был строгим. Выезжал в Москву Борис Леонидович еще реже, хотя по вечерам долго отсутствовал. В сентябре 1959 года он был последний раз на концерте Стасика в Доме ученых.

В конце 1959 года к Пастернаку приехал представитель из Союза писателей с предложением написать заявление о восстановлении его в члены Союза. Борис Леонидович категорически отказался, сказав, что он не хочет находиться в их обществе — для него важно только то, что он член Литфонда и у него не отберут дачу, где он может работать. Рассказывая нам об этом разговоре за ужином, Борис Леонидович с грустью сказал: «Как они все себя показали в тот период, а теперь думают, что все можно забыть».

В апреле 1960 года у Пастернака опять появилась сильная боль в ноге и боли в сердце. А с 25 апреля он уже не вставал. Болел он тяжело, но терпеливо, стараясь не показывать своих страданий. Самоотверженно ухаживала за ним Зинаида Николаевна. В первых числах мая я приехала на дачу. Борис Леонидович, услышав мой голос, сказал: «Галя! Не

обижайтесь на меня, но я не хочу, чтобы вы заходили ко мне в комнату. Я очень плохо выгляжу!» Больше я его так и не видела. Умер он 30 мая. В Союзе писателей боялись, что похороны обратятся в демонстрацию, и поэтому было прислано несколько человек для соблюдения порядка. Гроб от дачи до Переделкинского кладбища несли на руках, один сменяя другого. Вся дорога была заполнена народом, все плакали. Из писателей я увидела только Паустовского и Ивановых (Федин был болен и от него скрыли смерть Пастернака, что его потом очень тяготило!) Над могилой произнес речь Валентин Фердинандович Асмус. Все слушали, затаив дыхание, так как каждое слово врезалось в сердце. Всю ночь на могиле горели свечи, и народ до утра не расходился. Многие читали стихи Пастернака и стихи, написанные в память о нем.

ХРОНИКА

С МЫСЛЬЮ О БУДУЩЕМ

МИНИСТЕРСТВО просвещения Грузинской ССР и педагогическое общество имени Я. Гогебашвили создали секцию педагогического сотрудничества с живущими за рубежом соотечественниками. Цель секции — всесторонняя помощь в изучении родного грузинского языка не только грузинам, живущим вдалеке от родной земли, но и всем иностранцам, желающим основательно изучить грузинский язык.

Недавно состоялось учредительное заседание секции. В ней объединены видные грузинские ученые, педагоги, деятели науки и просвещения.

Заседание вступительным

словом открыла министр просвещения Грузии, первый заместитель председателя президиума Центрального совета республиканского педагогического общества имени Я. Гогебашвили, профессор Н. Васадзе.

Председателем секции избран профессор Тбилисского государственного университета Г. Рамишвили.

Секция будет содействовать организации приема в учебные заведения нашей республики детей из проживающих за границей грузинских семей, и молодежи, проявляющей интерес к грузинскому языку, а также повышению квалификации преподавателей из зарубежных центров по изучению грузинского языка.

ЕЩЕ РАЗ О ПИРОСМАНИ

НА РОДИНЕ Пиросмани, в селе Мирзаани, в великолепном, отстроенном в современном стиле здании выставочного дома-музея художника висит его малоизвестная картина-вывеска «Царапи» (58×138 см., холст, масло). На ней изображены: слева — большие квеври (сосуды для вина), справа — винные бочки, в центре — надпись «Царапи» (название вина). В нижних углах нарисованы два маленьких бурдюка, а над надписью — виноградная лоза с гроздьями. В верхних углах рукою художника нанесено два четверостишия. Расположение их уравнивает композицию, являясь ее органической частью. Слева:

Кому вино не нравится — наше тому благословение,
Кого силой потчуют, а кто мечтает о нем.

Справа:

Вай, как мне жаль тебя,
Полный вина бурдюк,
Магометанин не вспомнит тебя,
Если перед ним поднос с пловом.

(Подстрочный перевод)

Кто же автор этих строк, которыми художник усилил рекламное воздействие своей картины-вывески для винного погребца?

Существует мнение, что Пиросмани писал стихи. Оно исходит из следующего утверждения Кирилла Зданевича: «Есть упоминание, что он сам писал стихи» («Нико Пиросмани», изд-во «Литература да хеловнеба», Тб., 1963). И все. Никаких данных, подтверждающих это положение, у Зданевича нигде нет. Однако данную версию повторяют многие исследователи и биографы художника, опять-таки не обосновывая ее никакими фак-

тами. Гастон Буачидзе в своей книге «Пиросмани, или прогулка оленя» (изд-во «Хеловнеба», Тб., 1981) приводит и разбирает надписи, сделанные на пиросмановских картинах и вывесках, но среди них отсутствует, как ни странно, эта единственная известная работа с выведенными на ней стихотворными строками.

...А теперь представим себе обстановку, в которой Пиросмани писал свои картины. Его «студией», как правило, были тифлисские духаны, в которых он за небольшую плату выполнял неприхотливые заказы хозяина. В ту пору в этих духанах и погребках, где собирались простолюдины, куда заходили и люди из высшего общества, слагали и пели свои песни ашуги — знаменитые Хазира и Скандарнова, Чамчи-Мелко, Кичик-Нова, Иолчи-оглы, читали свои стихи городские поэты — Ганджискарели, Давид Гивишвили, Иэтим Гурджи, под звуки зурны, дудуки, сазандари, камянчи, дайры и шарманки звучали голоса народных певцов — Большого Баграта (Баграта Баграмова), Геурка Шулаверского (Георга Чабанова), Куприа (Артема Куприашвили), Дата Зубиашвили — последнего усташа (главы) зурначей, Левана Карахана и других. Как гласит молва, Пиросмани был в дружеских отношениях со многими из них, а также с Шио Мгвимели, Иродионом Евдошвили, Георгием Кучишвили, Важа Пшавела, с которым, по сохранившимся сведениям, часто встречался в одном из известных тогда духанов, который держали братья по прозвищу «безбородые» (кóса). Эта версия, кстати, вдохновила поэта Валериана Гаприндашвили на создание стихотворения «Важа и Пиросмани».

Любопытны названия духанов, где собиралась городская богема: «Пирую на десятку», «Духан «безбородых», «Не уезжай, голубчик мой!», «Пивная Азия, гвердзе мизис ламазия» (рядом со мной сидит красавица), «Сандро, налей пива, торем тави мтквива» (а то голова болит) и другие в том же духе. А вот названия тех ресторанов и духанов, в которых рисовал художник: «Шантеклер», «Сан-суси» — в Сабуртало, «Джентельмен» — у бывшего Воронцовского моста, «Эльдорадо» и «Фантазия» — в знаменитых Ортачальских садах.

Творчество Пиросмани было органически связано с этим миром — в нем он работал, жил, его он изображал. Народная поэзия и музыка также не могли не быть ему созвучны. И вполне допустимо, что он мог «вписать» в свою картину стихи одного из собратьев по судьбе. Руководствуясь этими соображениями, мне и удалось установить, что Пиросмани в левом углу картины поместил строки из стихотворения городского поэта

Оганеза Амирова «Заздравная кутил», написанного им в 1830 году в Кутаиси. (Сборник стихов «Салхино сазандари» — Г. Скандарнова, 1911, Тифлис, на груз. языке).

В четверостишии из этого стихотворения, начертанном на картине Пиросмани, случайно или сознательно (писал-то он, безусловно, по памяти) им заменено одно лишь слово — «гамарджвеба», которое в данном контексте можно перевести как «здравие» на «зиареба» — благословение, что, думается, облагородило его звучание и содержание, не изменив смысла.

Что касается надписи в правом углу, то автора ее установить не удалось, однако тут явно имеет место более примитивное сложение стиха городского фольклора. В этом четверостишии слово «магометанин» рифмуется плохо, здесь лучше звучало бы «татарин»; возможно, так оно и было у автора, по всей вероятности, письменно не зафиксировавшего своего творения.

Не исключено, что были, но бесследно исчезли либо хранятся где-то в неизвестности картины, в которых Пиросмани использовал стихи других поэтов, например, Иэтима Гурджи; ведь они жили и творили в одном мире, «оба явились из недр одного города, оба сызмальства испили полную чашу страданий, оба разукрашивали стены погребов и духанов за миску супа и бутылку вина, творчество обоих излучает свет, тепло и радость. «Бедный Никала» рисовал на прокопченных стенах духанов изумительные картины, Иэтим писал в этих стенах»... Так вспоминал о двух народных творцах Иосиф Гришайвили («Литературная богема старого Тбилиси», «Мерани», 1977, с. 91—92).

* * *

В 1978 ГОДУ я попросил Виктора Чанкветадзе — бывшего актера и режиссера кино, моего близкого друга, рассказать о встрече с Пиросмани, с которым в детстве свел его случай. Он написал для меня приводимые ниже воспоминания, которые публикуются впервые.

«Мой старший брат Коля (Николай Александрович Чанкветадзе) с 1907 года был актером в Народном доме имени Зубалашвили. У нас дома собирались актеры этого театра, частым гостем бывал поэт и актер Георгий Кучишвили (Чхеидзе), которого связывала с Колей большая дружба (брат скончался в 1928 году). В 1915-16 годах Коля был призван на военную службу и работал в одном из военных ведомств. Дома он мог бывать только по субботам и воскресеньям. В один из таких

дней пришел Георгий Кучишвили, чтобы повидаться с Колей. Во время разговора с ним он сказал: «Нико болеет и очень нуждается». Я с удивлением выслушал это сообщение, так как престный моего младшего брата Котэ — Нико Гоциридзе был у нас накануне, жив-здоров и, как обычно, с гостинцами. Я в недоумении спросил у матери, что случилось с дядей Нико, на что мать ответила, что речь шла о другом Нико, и я успокоился.

Однажды мать послала меня на службу к Коле отнести носовые платки, носки, печеное и деньги в конверте. Я пришел к брату в военное учреждение, которое находилось на вокзальной площади (в настоящее время на этом месте стоит многоэтажный дом). Когда я передал брату посылку матери, он задумался о чем-то и попросил: «Витя, ты должен пойти и отнести деньги одному человеку, это тут же, недалеко, рядом с вокзалом». Я согласился. Он написал небольшую записку, завернул в нее полученные из дому деньги и сказал: «Пойдешь на Молоканскую улицу». Я хорошо знал эту улицу, так как там жила моя бабушка. Помню, что очень быстро нашел дом, в который меня послал брат, открыл калитку в воротах и вошел во двор. Старая русская женщина показала мне жилище Нико: небольшая дверь с окошком и деревянная стенка. У дверей стоял маленький котелок, запачканный краской, валялось несколько кистей, тоже выпачканных высохшей краской. Я постучал в дверь, послышался голос: «Кто это?». И дверь приоткрылась. Пожилой худой человек с бородой и усами вышел из комнаты. Он сильно кашлял. Поверх черной рубахи на нем был одет жилет. Я передал ему записку с деньгами и сказал, как велел мне брат: «Дядя Нико, эти деньги вам посылают мой брат Коля Чанкветадзе и Георгий Кучишвили». Человек растерялся и стал еще сильнее кашлять, отвернулся от меня и прикрыл рот рукой. Я тем временем заглянул в комнату через приоткрытую дверь — на стене висели пиджак и мягкая шляпа. Больше ничего не было видно.

Когда дядя Нико прочел записку, он вопросительно взглянул на меня и слабым голосом попросил: «Дорогой дружок, принеси мне хлеб и папиросы, я болен, не могу выйти». Он ждал меня, сидя у порога; когда я вернулся, с трудом поднялся, поблагодарил и дрожащей рукой отломил поджаренный край хлеба-шоти. Я почему-то пожалел его. Изможденное худое лицо и большие глаза этого человека глубоко запали в мою память.

Прошли десятки лет. Не только у нас в Грузии, но и во всем мире Нико Пиросманавили признан великим художни-

ком. Молоканская улица стала улицей Нико Пиросмани. Когда я узнал историю жизни художника, то вспомнил свое посещение «дяди Нико» и понял, кому я, будучи 14-летним мальчиком, принес записку и деньги, понял, что встречался с Нико Пиросманашвили, который тогда отломил краешек хлеба так, как это может сделать только голодный человек.

Пишу эти строки, и перед глазами у меня — незабываемая встреча с дядей Нико.

30 мая 1978 года.

* * *

КАРТИНА «Актриса Маргарита» в творческом наследии Пиросмани занимает особое место. Она присутствует на всех вернисажах художника в самых престижных выставочных залах мира и продолжает сопутствовать его мировой славе, как бы искупая вину перед ее творцом.

Образ Маргариты на картине Пиросмани воспринимается как обобщенный, олицетворяющий поэтическую женскую сущность такой, какой она представлялась ее автору — прекрасным видением, сочетающим в себе одновременно плотское и духовное начала. Романтичность картины дала пищу деятелям искусства и литературы для создания вариантов трогательной легенды о неразделенной любви художника к французской «кафе-шантанной певице», разорившемуся на «миллион, миллион алых роз» для своей любимой.

Первый биограф Пиросмани Кирилл Зданевич в своей книге «Нико Пиросманашвили» (Изд-во «Искусство», М., 1964) датирует картину 1909-м годом, описывая процесс ее создания как очевидец. Между тем известно, что первая встреча К. Зданевича с Пиросмани произошла в 1912 году. Итак, 1909-й или 1912-й годы, возможно, немногим раньше или позже... Если реальный прототип актрисы Маргариты существовал, то в театральных афишах и газетных объявлениях должно было упоминаться ее имя. Однако изучение архивных материалов с 1907 по 1912 годы положительных результатов не дало.

Весна 1905 года. Шла русско-японская война. Надвигались затруднения, вызванные экономическим кризисом, набирало силу революционное движение.

...С Верийского подъема по Головинской улице в направлении Дворцовой площади двигалась колонна бастующих. Среди них — поэт Иэтим Гурджи. В руках у него самодельное

знамя с надписью «Радуюсь, хотя не верю». Конная полиция стягивала силы для разгрома демонстрантов.

В городе закрывались многие производства, «прогорали» неудачливые рестораторы и мелкие лавочники. Газеты пестрели многочисленными красочными объявлениями, в которых, как в зеркале, отразился дух тех тревожных дней. Например: «От содержателей загородных садов «Фантазия», «Аквариум», «Эдеми» и «Разсвет». Забастовавшие в этих садах служащие, если до 25 апреля не явятся на условиях, поставленных хозяевами совместно с официантами и поварами 16 апреля, в ресторан «Анона», то считаются уволенными». Или вот еще такое: «С сегодняшнего дня ресторан «Тили-пучури» после забастовки прислуги вновь открыт. Кабинеты роскошные, цены умеренные» (Газ. «Тифлисский листок», № 84, 28 апреля 1905 г.).

В то же время предприимчивые люди открывали новые рестораны, кафе, театры, привлекая публику гастролерами и «звездами» становившегося модным стиля «модерн», броской рекламой. В том же номере газеты есть объявление:

«Вниманию публики!

Чсть имею довести до сведения почтеннейшей публики гор. Тифлиса, что сего апреля мною открыт на ВЕРЕ САД (первый дом за мостом, в доме Мхеидзе) под названием

«Шато де Флер»

В саду имеется первоклассный буфет, снабженный разными заграничными, русскими и местными напитками, кухня (европейская и азиатская), пивной павильон, где продажа производится квартами, а также роскошные кабинеты. Для удовольствия публики ежедневно от 6 до 12 часов ночи будет играть оркестр военной музыки. Вход бесплатный. С почтением И. Бачашвили».

Театральная жизнь города была насыщенной и разнообразной. В тифлисском оперном казенном театре и в театре Артистического общества выступали отдельные гастролеры и труппы петербургского и московского императорских театров оперы, балета и драмы, французских театров оперетты, польские опереточные и балетные труппы, частные антрепризы. С наступлением теплых дней театральная жизнь города перемещалась на открытую эстраду — в сады, где господствовал легкий жанр оперетта и варьете. Эти многочисленные сады были достопримечательностью Тифлиса, они оказывали существенное влияние на общественную и культурную жизнь города. Сады располагались как в центре, так и на окраинах: знаменитый Муштайд-

тифлисский Булонский лес — в конце Михайловской улицы (ныне проспект Плеханова), ортачальские и другие загородные сады: «Эдеми», «Фантазия», «Аквариум», «Разсвет», зимний и летний банковские сады — в центре города, сад и ресторан «Гандегили» — на горе Св. Давида, «Шато-де Флер» и «Бель-Вю» — на Вере. Многочисленные выступления приезжих актеров, нарядная публика, одетая на европейский манер, гуляние в садах и, вероятно, какой-то особенный колорит города — все это позволило побывавшему здесь в 1858 году Александру Дюма назвать его «маленьким Парижем», что и закрепилось за Тифлисом на долгие годы.

На театрально-рекламных тумбах тифлиских улиц утром 20 марта 1905 года горожане могли увидеть такие объявления-афиши: «Оперный казенный театр, антреприза артиста императорских театров Л. Д. Донского: русская комическая опера и оперетта под управлением И. И. Виктор-Берченко с участием А. Э. Блюменталь-Тамариной, Э. Ф. Бауэр, В. М. Михайлова и П. М. Шелехова — артистов императорских московских театров. Театр Артистического общества — концерт композитора — регента архимандрита, отца Комитаса при участии капеллы Эмиадзинской Георгиан Академии, а в верхнем зале доктор философии П. М. Кара-Мурза читает лекцию на тему «Современный идеализм», театр Ветцеля — грузинские спектакли под руководством Васо Абашидзе, в «Немецком собрании» и «Тифлисском собрании», — спектакли и дивертисменты. В открывшихся в 1903-04 годах частных кинотеатрах «Синема», «Элиоскоп», «Электро прожектор», «Иллюзион» демонстрировались французские фильмы». И, наконец,

«Театр «Бель Вю»

НОВОСТЬ

27-го марта 1905 года

ДЕБЮТ

знаменитой артистки еще небывалого

в России жанра

только на 7 гастролой

La Belle Margaritta De Sevre

Ежедневно. Концерт-дивертисмент в трех отделениях¹.

¹ Данные о гастролях актрисы Маргариты де Севр в «Тифлисском листке» 1905 года автор получил от художника Тенгиза Мирзашвили (который, в свою очередь, узнал их от кинооператора Гии Герсамя), за что приносит глубокую благодарность.

В газете «Тифлисский листок» было объявлено восемь спектаклей с участием Маргариты де Севр. Имя ее везде стояло на первом месте и было выделено крупными буквами. Гастроли проходили с 27 марта по 8 апреля 1905 года, а 7 апреля состоялся бенефис актрисы. Вот одно из этих объявлений из «Тифлисского листка» (№ 69) от 7 апреля 1905 года:

«Театр «Бель Вю». Сегодня, 7 апреля состоится бенефис La Belle Margaritta De Sevre, Бенефициантка в этот вечер исполнит совершенно последний новый парижский жанр — МЕТАМОРФОЗА, еще небывалый в России. Моментальное исчезновение и превращение в разных позах на экране. Участвуют: известные музыкальные эксцентрики г-жа и г-н Фис-Дис, трансформатор г-н Баралон, венская субретка м-ль Стефи Тирольд, исполнительница танцев «кек-уок» м-ль Белла-Дора, интернациональная артистка м-ль Руберт, характерная танцовщица м-ль Познанская,

исполнительница романсов м-ль Савиль, артистическая капелла под управлением Ю. А. Мартане, исполнитель русских танцев г-н Суворов, русские оригинальные дуэтисты гг. Лебедевы, шансонет-певица Орлеанская, русский куплетист г. Донцов, шансонет-певица м-ль Александрович, исполнительница цыганских романсов г-жа Лебедева, еврейский квартет под управлением г-на Мацека. Солисты — Германовский, Фейнгольд, Вальдман, Донецкий и др. Начало в 9 часов вечера. Зал по-

ТЕАТРЪ БЕЛЬ-ВЮ.

НОВОСТЫ
съ 27-го марта 1905 года

ГАСТРОЛИ

знаменитой артистки
ЕЩЕ НЕБЫВАЛАГО ВЪ РОССИИ ЖАНРА
только на 7 гастролов

La Belle Margaritta
Dé Sevre,

А ТАКЖЕ ЕЖЕДНЕВНО
КОНЦЕРТЪ-ДИВОРТИМЕНТЪ
въ трехъ отделенияхъ

Отъ 8 час. вечера до 2 час. ночи играетъ
СТРУННЫЙ ОРКЕСТРЪ
подъ управленіемъ известнаго дирижера
А. ДАЛІССЬЕ.

Участвуютъ всѣ трупа.
Дебютъ венской субретки **М-ЛЬ СТЕФИ ТИ-**
РОЛЬДЪ.

Афиша Маргариты де-Севр.

крыт персидскими коврами. Имеются кабинеты. Кухня под наблюдением лучшего шеф-повара. За вход 20 к. Взятые билеты на места в партере и ложи за вход не платят».

К сожалению, рецензии на подобные выступления «легкого» жанра в то время не были приняты. Но даже сведений из афиш вполне достаточно, чтобы легендарная «шансонеточная певица» Маргарита превратилась в реальную Маргариту де Севр, парижскую артистку оригинального жанра, которую Пиросмани встретил в театре «Бель Вю» во время ее гастролей, состоявшихся в марте—апреле 1905 года в Тифлисе. (Возможно, что де Севр — сценический псевдоним актрисы).

Сад и театр «Бель Вю» содержал Софрон Николаевич Схиртладзе, очевидно, процветавший в описываемый нами период, о чем говорят почти ежедневные рекламные объявления в газете «Тифлисский листок». Вход в сад был открыт до 10 часов вечера со стороны б. Каргановской улицы (напротив нынешнего дома-музея Е. Ахвледиани), а разъезды публики допускались только с Верийского спуска, по крутому склону которого шла в три пролета легкая сквозная деревянная лестница с перилами, упиравшаяся в дверь с высокой белой вывеской. Название «Бель Вю» — прекрасный вид — было вполне оправдано. Для Пиросмани этот район на Вере был хорошо знаком. Ведь его первая лавка, в которой он торговал молочными продуктами, расположена была именно здесь, у Разгонной почты, где начинается Верийский спуск.

Как произошло знакомство Пиросмани с Маргаритой — мы не знаем. Скромный и застенчивый Никала мог преподнести ей букет цветов. Поза и выражение лица женщины на картине не позволяют предположить близости, даже духовной, между ней и автором картины, если же существовало какое-то чувство или симпатия, то, зная личные качества художника, можно думать, что они были односторонними и невысказанными. Свое отношение к актрисе он выразил в картине, изобразив ее в позе, когда она легким поклоном благодарит своего почитателя за внимание.

Не может быть сомнения, что картина написана под впечатлением реальной встречи, а поскольку она произошла в 1905 году, то есть все основания считать, что картина «Актриса Маргарита» была написана не в 1909 и, тем более, не в 1912, а именно в 1905 году.

1905 год был особенно плодотворным для Пиросмани, создавшего тогда выдающиеся произведения именно портретного характера: «Дворник», «Повар», «Портрет духанщика», «Ор-

ганщик», «Женщина с лилиями и зонтиком», «Кормящая с ребенком», «Красавица Ортачала», «Красавицы Ортачала» (две картины). Не вызывает сомнения, что все портреты написаны натуры: К тому же времени относится и знаменитый «Жираф».

Настало время снять обвинение с Маргариты в ее причастности к разорению Пиросмани. В описываемый нами период он владел лавкой на Солдатском базаре совместно с компаньоном Дмитрием Алугашвили, чей рассказ об их торговых делах в 1931 году опубликовал Георгий Леонидзе (журнал «Мнатоби», № 3). Алугашвили обвиняет Пиросмани в том, что они разорились — «ему противно было торговать». О существовании Маргариты в рассказе не упоминается. В тот период Пиросмани серьезно увлекся живописью, которой и отдавал все свое время. Да и условия для торговли были неблагоприятными, и причин для разорения хватало.

...1969 год. 85 картин Пиросмани экспонируются на его первой персональной выставке в Париже. Экспозиция размещена в Лувре, в павильоне Марсана, в музее декоративного искусства.

Представляли ее директор Государственного музея искусств Грузии академик Ш. Я. Амираншвили, председатель Союза художников Грузии З. Лежава, а открыли — министр культуры Франции, известный писатель и искусствовед Андре Мальро и посол СССР во Франции В. А. Зорин. На открытии присутствовал министр иностранных дел Франции Мишель Дебре. Эта выставка явилась важным этапом в расширении культурных и дружеских контактов между двумя странами; ее посетили и приветствовали члены Политбюро и Центрального Комитета французской Коммунистической партии Ролан Леруа, Бюи Бес, Жан Шамба, Жак Дени и другие выдающиеся деятели Франции, в том числе Луи Арагон, Эльза Триоле, Пикассо, Марк Шагал, миллионы парижан.

Посетителей на лестнице торжественно встречали гвардейцы в парадных красных мундирах. Вот что рассказал нам очевидец и участник этой выставки художник Георгий Макацария:

«В день открытия выставки, 6 марта 1969 года, я находился в одном из залов музея, где давал пояснения супруге советского посла В. Зорина. Ко мне подошел специально приехавший на открытие выставки из Страсбурга, где он читал лекции в университете, Александр Алексидзе и сказал, что меня срочно просит Шалва Амираншвили, находившийся в соседнем зале. Я застал Шалву Ясоновича в обществе трех неизвестных мне французов и редактора издаваемого в Париже журнала



Мargarита де Севр и Елена Адант у картины «Актриса
Margarита»

«Беда Картлиса» — Калистрата Салия. Как я узнал позже, две дамы были русского происхождения, одна из них, Мосалева Елена Дмитриевна, собиралась писать книгу о Пиросмани для молодежи, другая — фотограф и натурщица Матисса — Делекторская Мария Николаевна (один из ее портретов кисти Матисса находится в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина). Третья дама, очень пожилая, небольшого роста, сухоощавая, сутулящаяся, с потухшими глазами, в сером одеянии и в шляпе. В руках у нее был французский журнал.

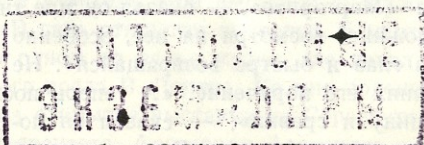
Шалва Ясонович отвел меня в сторону. Я заметил, что он очень взволнован: «Иди к «Маргарите», — сказал он мне тихо, — внимательно, как художник, посмотри на нее, особенно обрати внимание на разрез глаз и быстро возвращайся». Не поняв в чем дело, я выполнил его поручение. «А теперь посмотри на эту старую женщину и сравни», — сказал он по-грузински, когда я вновь подошел к их группе. Я посмотрел на даму, еще мало понимая, что происходит. Разрез глаз, линия контура и сам характер их были схожи с портретными. Тут я

уже догадался, в чем дело, а Шалва Ясонович подтвердил мою догадку: «Это Маргарита», — шепнул он и снова послал меня к картине, чтобы сравнить живую Маргариту с нарисованной. Сходство подтвердилось. (По нашим подсчетам, живой Маргарите в 1969 году должно было быть около 85 лет.—А. Ч.). О чем говорил Амиранашвили с Маргаритой в мое отсутствие, — продолжает рассказ Г. Макацария, — я узнал позже. Дама сказала, что бывала в Тифлисе, хорошо была знакома с Пиросмани и его творчеством, что зовут ее Маргаритой. О себе она ничего не рассказывала и фамилии не назвала. Сообщила только, что в 30-х годах во французском журнале была напечатана ее статья о Пиросмани. По своей деликатности, которая была общеизвестна, Амиранашвили постеснялся подробнее спросить Маргариту.

По приезде из Парижа, делясь впечатлениями о выставке в кругу семьи и сотрудников музея, Шалва Ясонович рассказывал, что на выставку Маргарита приходила несколько раз, и каждый раз перед уходом задерживалась у картины «Актриса Маргарита». Вела себя она очень сдержанно, как будто стеснялась чего-то. Только в последний день она попросила у Амиранашвили разрешения сфотографироваться у этой картины и сказала с какой-то затаенной гордостью: «Не подумайте, что Пиросмани относился к Маргарите легкомысленно, он любил ее, как рыцарь».

В архиве у Ш. Амиранашвили осталось две фотографии, сделанные французским профессиональным фотографом Еленой Адант. Одну из них мы публикуем впервые: Маргарита де Севр и Е. Адант у картины «Актриса Маргарита». Другая фотография, где Маргарита снята с Амиранашвили и Адант, утеряна. В архиве Е. Адант, наверное, хранится негатив и адрес, которые могут помочь исследователям.

Принесим благодарность семье Ш. Я. Амиранашвили за полученную информацию и любезно предоставленную фотографию.



Сдано в набор 22.01.88 г. Подписано к печати 24.02.88 г. Формат 84×108^{1/32}. УЭ 08934. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97. Уч. изд. л. 14,0. Тираж 5.100. Заказ 177. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

5.111 143
161935740
21024110935
88

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Резо АМАШУКЕЛИ (заместитель главного редактора),
Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз
АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ,
Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА,
Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь).
Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: Главный редактор — 93-65-15, заместитель
главного редактора — 93-13-57, ответственный секре-
тарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы —
93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию»
обязательна.

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი
„ლიტერატურნია გრუზია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к.

26-88

88-413

ИНДЕКС 76117

14035740

017939